



“Роскошествуй, веселая толпа...”

Пирь в русской лирике начала XIX века

Е. Н. ФЕДОСЕЕВА,
кандидат филологических наук

В романтических посланиях первой трети XIX века постоянно упоминаются дружеские пирушки, обретающие символические формы греческого симпозиона, “пира мудрецов”, интеллектуальной беседы и осмысляемые как праздник истины и духовного братства.

Дружеские застолья имеют свою декорацию, на фоне которой и происходят. В этом смысле обрамляющий контекст пиров очень близок по содержанию у Языкова и Давыдова. Гусары собираются для возлияний “в дымном поле, на биваке, у пылающих огней”; бурсацкая вольница Языкова празднует в “диких” лесах. У Дельвига друзья встречаются под сенью развесистой рощи, в тихом сумраке сада. Сад, чей прообраз Эдем, – идеальный топос для дружеских пиров, на которых ведется неспешная беседа о прекрасном и об истинных ценностях жизни. Красота и гармония окружающей природы, щедрой в расточении своих даров, располагают участников совместной трапезы к духовному собеседованию.

Пирь неразрывно связаны с праздничной символикой. В поэтической фразеологии выражение “праздник жизни”, как правило, связывается в сознании с вечно длящимся, прекрасным, словно остановленным мгновением чистого наслаждения. “Чтобы какие-то формы жизни стали праздничными, к ним должно присоединиться что-то из иной сферы бытия, из сферы духовно-идеологической. Они должны получить санкцию не из мира средств и необходимых условий, а из мира высших целей человеческого существования, то есть из мира идеалов. Без этого нет и не может быть никакой праздничности”, – отмечал М.М. Бахтин [1].

Собрания друзей за чашей вина – неперемное условие праздника. Исчезают серые будни, дни ярки и красочны, их бег стремителен (“в обгон летели наши дни”), в противовес тем обыденным часам, которые не

летят, а “влачатся”. На пиру “однообразный ход часов” заглушается веселым пением Дельвига:

Мы ж время измерять, друзья,
По налитым бокалам станем –
Когда вам петь престану я,
Когда мы пить вино устанем,
Да и его уж не найдем,
Тогда на утро мельком взглянем
И спать до вечера пойдем.

(“К Евгению”, 1821)

Дружеские застолья у Языкова, услаждающие горечь бытия вкусом кипящего вина, рассеивают страх перед жизнью:

Страшна дорога через свет;
Непьяный вижу я дорогу,
А пьян – до ней мне дела нет,
Я как слепой и слава Богу.

(“Песни”, 1823)

Если пиры рассматривать как противостояние смерти, то становится понятным частое употребление слов *смелей*, *смело*: “живи смелей, товарищ мой, разнообразь досуг шуточный” (Баратынский); “ударим радостно и смело мы чашу с чашей в звонкий лад!” (Вяземский). Состояние опьяненности скрывает печальную перспективу жизни, иллюзия подменяет реальность, заставляя сосредоточиться на настоящей минуте счастья.

Вечер, посвященный Вакху, освобожден от всех прочих, кажущихся суетными, забот. Уныние – один из смертных грехов и в христианской этике, поскольку лишает человека праздничного восприятия жизни, концентрируя его на внутренних переживаниях. Унылый человек не в состоянии откликнуться сердцем на окружающую его красоту как свидетельство благодати Творца. По выражению Баратынского, “одну печаль свою, уныние свое, унылый чувствовать способен”. Целительная сила вина – в даровании веселья, которое в свою очередь красит человека: “веселье пышет розой по щекам”.

Утопическая мечта всех поэтов – сохранение праздничного отношения к жизни вплоть до смертного мига. В качестве примера приведем отрывок из стихотворения Пушкина “К Пушину” (1815):

Дай Бог, чтоб я, с друзьями
Встречая сотый май,
Покрытый сединами,
Сказал тебе стихами:

Вот кубок; наливай!
Веселье! Будь до гроба
Сопутник верный наш,
И пусть умрем мы оба
При стуке полных чаш!

Этот эпикурейский культ вечной молодости, если не физической, то духовной (герой Пушкина, встречающий свой “сотый май”, уже покрыт сединами), у Давыдова прозвучит несколько по-иному в его знаменитой песне “Я люблю кровавый бой!” (1815):

Станем, братцы, вечно жить
Вкруг огней, под шалашами;
Днем – рубиться молодцами,
Вечерком – горелку пить!

Призыв “вечно жить” снимает антиномию между жизнью и смертью, поскольку последней как бы и не существует вовсе. Роковой рубеж, разделяющий два взаимоисключающих мира, у Давыдова отсутствует. Его мироощущению близко убеждение: пока мы живы – смерти не существует: “Смерти в когти попадаешь, И не думая о ней!”. Выбор формы глагола: *попадаешь* (а не *попадешь*) подразумевает незаконченность, возможность повторений действий, и это не удивительно: ведь автор здесь ведет речь не только от первого лица, но и от лица своих товарищей гусаров. Героем в данном стихотворении является не лирическое “я”, а лирическое “мы”. Давыдов говорит не о личном бессмертии, а о коллективном, бессмертии гусарства, только благодаря которому становится возможным бессмертие отдельного человека, отчаянного и благородного, отдающего себя без остатка и на дружеской пирушке и в пылу битвы.

У Давыдова нет трагического предощущения завершения радости по окончании пира, как нет и оппозиции краткости, хрупкости счастья устойчивости разочарований и потерь, в отличие от других поэтов, непременно оговаривающих тот срок, на который дана радость: “боги нам дали радость на час”, “вечер, быть может, наш недалек”, “дана на время юность нам”, “сегодня я с вами пирую, друзья...а завтра...”. По Давыдову, не радоваться – означает пропускать жизнь не через себя, а мимо:

Жизнь летит: не осрамися,
Не проспи ее полет.
Пей, люби да веселися!
Вот мой дружеский совет.

(“Гусарский пир”, 1804)

Для лирического героя Давыдова нет будничных дней, как нет паузы между пирами застольными и боевыми. В послании “Бурцову”

(1804) он обрывает свою пространную клятву, являющую собой “катехизис” истинного гусара, на полуслове:

Пусть...Но чу! гулять не время!
К коням, брат, и ногу в стремя,
Саблю вон – и в сечу! Вот
Пир иной нам Бог дает...

Для Давыдова застолье с друзьями – всего лишь “час досужий”, краткая пауза во время пира более задорного и веселого, коим является “пир копий и мечей”. А последний, в свою очередь, входит в число составляющих компонентов полноценной жизни истинного гусара.

Рубеж, отделяющий жизнь от смерти, никогда не исчезает из поля зрения Баратынского, может быть, только меняется отношение к нему. У поэта обострено слышание хода часов, отсчитывающих мгновения радости. Он ни на секунду не забывает о времени, а живет в предощущении того, что веселье и наслаждение не принадлежат человеку, который может ловить счастливый миг лишь “украдкой”, пытаясь напрасно обмануть судьбу, смерть, насмехающуюся над его бесплодными усилиями:

Еще полна, друг милый мой,
Пред нами чаша жизни сладкой;
Но смерть, быть может, сей же час
Ее с насмешкой опрокинет, –
И мигом в сердце кровь остынет,
И дом подземный скроет нас!
(“К-ву”, 1820)

В стихотворении “Кривцову” (1817) Пушкин словно отвечает Баратынскому:

Не пугай нас, милый друг,
Гроба близким новосельем:
Право, нам таким бездельем
Заниматься недосуг.

На самом же деле и Пушкина всерьез “занимает” это “роковое новоселье”. Но “смертный миг” не отрицает праздничного мига жизни. Поэт утверждает – “смертный миг наш будет светел”, просветляя роковую окраску предстоящего новоселья. Жизнь будет продлена в вечность, тогда как у Баратынского смертный миг отрицает жизнь, связан с отсутствием цвета и света вообще: “дом подземный скроет нас”.

На пирах часто присутствуют гости из небытия, умершие друзья и чтимые поэты. Таким образом, пиры располагаются симметрично, по обе стороны от черты, разделяющей жизнь и смерть. Вино дарует то

состояние, когда “душа непосредственно общается с Богом”. Человек вмещает в себя волю божества, сам в какой-то степени преображаясь в бога. Ограничивающие в обычной жизни рамки не просто отодвигаются, а снимаются. Загробный мир – обитель теней – в этом только и отличие его от мира земного, – считает Дельвиг:

Дай нам благостный Зевес,
Встретить новый век с бокалом!
О, тогда с земли без слез,
Смерти мирным покрывалом
Завернувшись, мы уйдем
И за мрачными брегами,
Встретясь с милыми тенями,
Тень Аи себе нальем.

(“В день моего рожденья”, 1819)

Дружба продолжается в вечности, ушедшие готовят радушный прием новым гостям в “закоцитной стороне”. Ценности, перевозимые на земле, сохраняют свое значение и в мире загробном. В “Элизийских полях” Баратынского не только духовное, но и физическое перемещение между этими мирами осуществляется свободно. Мертвые навещают те места на земле, где им было “все милей”, они нуждаются в пиршественном приборе за столом здравствующих друзей. Мистическая встреча между мертвыми и живыми певцами происходит в самую светлую минуту жизни, в час досужий веселья. Мечта о друге соединяется только с “лучшими мечтами”. Нераспавшийся союз живых – условие связи с миром теней. Общий глас, одухотворяемый верой, в состоянии преодолеть все препятствия на своем пути:

Нет их с нами, но в сей час
В их сердцах пылает пламень.
Верьте. Внятен им наш глас,
Он проникнет твердый камень.

(“Снова, други, в братский круг...”, 1826)

Лирике Языкова не свойственны анакреонтические мотивы воссоединения за общей чашей мертвых и живых, продолжение праздника за чертой “земного перехода”. Он не представляет себе небытие как “тень веселого бытия”, располагая по обе стороны пирующих ныне и поджидающих новых гостей для продолжения пира за порогом земного бытия. Преодоление смерти он видит в увековечивании своего имени здесь, на земле, в воспоминании за дружеской чашей живых.

Переживание кратковременного душевного возбуждения, экстатический выход из себя во время ночных пиров уравнивается утренней прохладой, встречей нового дня. Знаток античности, Вяч. Иванов

отмечал, что «в священной терминологии это состояние означалось словом “нитерсис” – очищение», именно так осуществлялось возвращение “закону жизни в свете дневном” после ночного прикосновения к миру иного бытия [2]. Встреча солнца – ритуальное действо, завершающее античный симпозион. Отголоски этой традиции встречаем в “Вакхической песне” (1825) Пушкина, стихотворении “К мальчику” (1814–1819) Дельвига. У Языкова в стихотворении “Рассвет” (1836) этот мотив приобретает христианский оттенок: омовение в струях прохладной синевы неба дарует очищение, в свете нового дня, пред красотой природы шум пиров видится той же суетой. Встреча рассвета происходит только по достижении в пирах высочайшей точки напряжения.

Туда, на высь холма! Там утренней прохлады
В живительных устах омоем наши взгляды,
Горячие уста и груди освежим.

Рамки дружеского симпозиона постоянно расширяются и обновляются, внося живую струю в течение беседы. В пире ярко выражено коллективное начало, друзья живут друг для друга, находя в этом оправдание и возможность полноценного бытия. Когда люди соединяются вместе на дружеском пире, то исчезает оппозиция мира внутреннего и мира объективного. Почувствовать себя своим в мире “не-я”, можно, только находя в нем частицу собственного, не чужого мира. Н.А. Бердяев писал: «Я, постигая мир “не-я”, приобщался к нему, лишь открывая его как внутреннюю составную часть моего мира “я”» [3]. Поэтому “своими” можно назвать не всякие пиры. Баратынский, размышляя о горестной судьбе тех, кто оторван от дружеских пиров (имея в виду в большей степени себя, тоскующего на чуждых финских берегах), говорит об их чувствах:

И каждый в горести немой,
Быть может, праздною мечтой
Теперь былое пролетает,
Или за трапезой чужой
Свои пиры воспоминает.
(“Пиры”, 1820)

Литература

1. *Бахтин М.М.* Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. М., 1965. С. 11.
2. *Иванов В.И.* Дионис и прадионисийство. СПб., 1994. С. 212.
3. *Бердяев Н.А.* Философия свободного духа. М., 1994. С. 292.

Продолжение следует



Стилистика образа жениха в “Сорочинской ярмарке”

© А. А. ПОЛЯКОВА,
кандидат филологических наук

В цикле “Вечера на хуторе близ Диканьки” исследователи уделяли внимание прежде всего этнографическому аспекту, точности отображения малороссийских народных обрядов. Известны в этом отношении нарекания критиков и рецензентов Гоголя (Андрия Царынного, П. Кулиша, Н.И. Петрова) касательно его плохого знания украинской крестьянской жизни. Так, П. Кулиш считал, что под влиянием столичной петербургской жизни Гоголь изобразил в “Сорочинской ярмарке” пару, публично обнимающуюся среди народа, “а потом затащил ее, как непотребных людей в кабак”, и далее: “зажиточный поселянин, мозольным трудом содержащий свое семейство, ни коим образом не может восхищаться пьяным, рекрутским молодецеством будущего своего зятя” [1]. Образ жениха в повести “Сорочинская ярмарка” необходимо рассматривать в контексте народной свадебной обрядности.

В традиционном свадебном обряде сваты с угощениями приходили в дом невесты и с помощью разнообразных иносказаний и традиционных формул заводили речь о браке. В случае согласия спустя некоторое время устраивалось обручение (заручины), иначе называемое “малим

весіллям” (малой свадьбой). Эта часть содержала в себе уже обрядовые действия, сопровождавшиеся соответствующими песнями, призванными символически подчеркнуть переход от сватанья к собственно свадьбе.

В повести сватовство происходит на ярмарке, и Грицько самостоятельно, без сватов решает обратиться к отцу Параски: “Ну, Солопий, вот как видишь, я и дочка твоя полюбили друг друга так, что хоть бы и навеки жить вместе.

– Что ж, Параска, – сказал Черевик, оборотившись и смеясь к своей дочери, может, и в самом деле, чтобы уже, чтобы уже, как говорят, вместе и того... чтобы и паслись на одной траве! Что? по рукам? А ну-ка, новобранный зять, давай могоарычу!” [2. С. 82].

Обычай выпить после удачного сватовства был распространен в Малороссии: невеста подносила сватам чарку горилки с соответствующими моменту приговорками. Однако празднование помолвки в шинке у жидовки на ярмарке нарушает традиционные нормы сватовства. К форме брака “купи-продажи” восходит один из предсвадебных ритуалов – рукобитье: «сваты и отец невесты “били по рукам”, как бы заключая торговую сделку (У вас товар, у нас купец)» [3]. Но эта фраза, как правило, употребляется в художественном мире гоголевских повестей при обозначении заключения договора с дьяволом или с другим представителем нечистой силы. В этой же повести Грицько, договариваясь с цыганом по поводу волов и Параски, говорит: “Ладно! Ну, давай же по рукам!» [2. С. 85]. Договор, который заключает Петро из “Вечера накануне Ивана Купала” с Басаврюком, также сопровождается фразой: “Хлопнули по рукам” [2. С. 104]. В данном контексте использование ее по отношению к свадебной сделке приводит к неоднозначности понимания: один из заключающих сделку представляет собой демонического персонажа, а другой – продающего душу или, как в данном случае, самое дорогое – свою дочь.

Необычайность и даже странность в облике Грицько уже не раз подчеркивалась в тексте прежде этой сцены. Начнем с того, что в самом имени персонажа заложена связь со сферой инфернального: *Грицем* в украинском фольклоре часто называется черт. Такого рода сведение содержится в том числе и в сообщении М. Драгоманова “Какъ вызывати чертей”: «Хто хоче мати з чортом справу і свою душу запродаати, то най іде на-серед роздорожъя, де три дороги сходяться і де є три фігури і най там крикне три рази: “Грицю без пяти”, то зараз йому ся покаже і спитає: “чого треба?”» [4]. Подобное название связано с тем, что в народном сознании само слово “черт” произносить запрещается, а следует или производить какие-либо замены в слове, или использовать собственное имя в качестве безопасного наименования этого персонажа. Дважды в тексте повести Грицько напрямую именуется именем нечистого образа: в первый раз Параска, пытаясь прояснить себе свои же

непонятные чувства при виде парубка, думает: “верно это лукавый!” [2. С. 80]. А в следующий раз сам Грицько, доказывая Солопию, что он сын Охрима Голопупенко, говорит: “А кто ж? Разве один только *лысый дидько*, если не он” [2. С. 82]. Автор выделяет это наименование и тем самым показывает, во-первых, закреплённость этого прозвища черта в народной среде, а во-вторых, неоднозначность данного высказывания героя – полуутвердительная интонация заставляет задуматься о степени серьёзности сказанного. Между тем комментаторы I тома Полного собрания сочинений обращают внимание на то, что Грицько сам приводит волов на ярмарку для продажи. Это свидетельствует о его сиротском положении, а сирота, как известно, обладает “пограничным” статусом в народной традиции.

Далее, в русле того же осмысления образа Грицько дается и его первое описание, воспроизведенное глазами Параски: “Красавица не могла не заметить его загоревшего, но исполненного приятности лица и огненных очей, казалось, стремившихся видеть ее насквозь” [2. С. 76]. Ключевыми в этом портрете являются слова: “огненных очей, стремившихся видеть ее насквозь”, в связи с которыми необходимо остановиться на роли взгляда в портретах гоголевских персонажей, преимущественно тех, которые по своей природе оказываются связаны с нечистой силой. Их знаковой особенностью становится “пламенный взор”, “сверкающие очи”, т.е. подчеркнутая связь с образом огня, пламени, которая естественным образом ассоциируется с инферальной сферой. Рассмотрим в качестве примера изображение глаз, взгляда Басаврюка из повести “Вечер накануне Ивана Купала”. На особенность его “очей” часто указывается в повествовании: “нахмурит он, бывало, свои щетинистые брови и пустит исподлобья такой взгляд, что, кажется, унес бы ноги Бог знает куда” [2. С. 101]; “очи – как у вола!” [2. С. 104]; “очи сверкнули” [2. С. 105]; “баран поднял голову, блудящие глаза его ожили и засветились <...> Все тотчас узнали на бараньей голове рожу Басаврюка” [2. С. 110].

Мотив “огненных очей” становится главенствующим в “петербургской повести” Гоголя “Портрет”.

Сравним изображение глаз – взгляда героев из романтических поэм “байронического” типа, которые приводит Ю.В. Манн: “дико озирался” (“Чернец” Козлова), “угрюмый взгляд” (“Войнаровский” Рылеева), “любил бросать свой мрачный взгляд” (“Разбойник” Машкова), “Всегда опущены к земле его сверкающие очи” (“Гайдамак” Рылеева) [5]. Таким образом, в выражениях глаз романтических героев, с одной стороны, сумрачность, угрюмость, мрачность, с другой – это взгляд сверкающий, испепеляющий, т.е. так или иначе связанный с образом огня как некоего отражения адского пламени. Тот же мотив мы встречаем и в портрете Грицько, усиленный замечанием о его предполагаемой способности видеть человека насквозь.

По народным поверьям, те или иные необыкновенные способности человека, используемые им к собственной выгоде или во зло другим, даются ему по внушению дьявола [6]. С этими верованиями соотносится и возникающий в повести “Страшная месть” мотив того, что во власти колдуна “вызвать душу и мучить ее; но один только Бог может заставлять ее делать то, что ему угодно” [2. С. 197]. Как морок и наваждение, которому невозможно противиться, Параска характеризует свое отношение к ухаживающему за ней парубку: “подумала про себя красавица, – только мне чудно... верно это лукавый! Сама, кажется, знаешь, что не годится так... а силы недостает взять от него руку” [2. С. 80]. Произнесенная девушкой фраза “не годится так...”, собственно, определяет содержание и смысл происходящего в повести: поспешное сватовство, обручение в шинке, препятствие, устраняемое двусмысленным розыгрышем, свадьба на ярмарке, подкрепленная лишь отцовским благословием, без обряда венчания.

Обращает на себя внимание и цвет носимой Грицько одежды – белой свитки. Белый цвет в мифологии и фольклоре имеет неоднозначную символику: с одной стороны, это – сакральный цвет, «белый свет – наш, “этот” свет, и он противопоставлен “тому”, не белому свету, как день – ночи» [7]; с другой стороны, это цвет смерти, загробных духов, привидений, мифологических персонажей. В повести белая свитка Грицько соотносится с красной свиткой черта. Как в народной культуре существует оппозиция “белое – красное”, так и в художественном произведении есть основания противопоставить одежду персонажей по признаку цвета. В данном случае в оппозиции выявляется то, что белая свитка парубка выгодно отличает его от красной свитки черта, подчеркивая его принадлежность миру живых. И действительно, при всех своих демонических чертах Грицько оказывается не в силах противостоять мачехе Параски и прибегает к помощи цыгана. Однако для демонических персонажей Гоголя вообще характерно обращаться за помощью к людям (Басаврюк сам не может взять подземный клад – для этого ему требуется Петрусь; панночка-утопленница не в силах распознать ведьму среди русалок и также обращается с просьбой к Левко).

Неоднозначность цветовой семантики в данном эпизоде выводит нас к проблеме роли цветовой гаммы в художественном мире Гоголя, в частности, в цикле “Вечера”. Следует пояснить, что распределение цветов применительно к тем или иным персонажам производится писателем далеко не всегда в согласии с народным отношением к цвету. “У славян оппозиция *жизнь – смерть* на языке цветowych символов народной одежды проявилась как *красный – белый*. В день свадьбы невеста надевала красные юбку, понёву, шубу, пояс; жених – красный кафтан. Украинцы красной краской окрашивали свадебный каравай” [8]. В то время как у Гоголя мы замечаем эпитет “красный” по отношению к персонажам, связанным с нечистой силой, т.е. либо самим несущим

смерть, либо относящимся к сфере ада, смерти: это красный кафтан колдуна из “Страшной мести”, красные шаровары запорожца, продавшего душу нечистому, из “Пропавшей грамоты”, красная свитка черта в повести “Сорочинская ярмарка”. Это дает нам основание говорить об авторской системе в характеристике персонажей с помощью цветовой гаммы.

Итак, Гоголь намеренно подчеркивает некую “иномирность” Грицько через ряд деталей в облике и одежде, посредством восприятия героя другими персонажами. Одно из возможных объяснений “демоничности” этого героя можно найти в мифологической основе свадебного обряда. Дело в том, что довольно часто в свадебной поэзии, особенно в песнях девичника, жених изображается как “разоритель”, “погубитель”. Этот прием восходит еще к тому древнему периоду, когда существовала форма брака-умыкания, похищения. Кроме того, по народным источникам известно, что жених и невеста пребывают как бы в пограничном состоянии, т.е. они еще не покинули среду холостых сверстников, но в то же время и не вступили в круг женатых людей. Подобный неопределенный статус и способствует тому, что жених наделяется “иномирными” чертами. В таком состоянии человек чрезвычайно уязвим для воздействия нечистой силы.

Именно такое восприятие статуса жениха способствовало возникновению фольклорных сюжетов о женихе-разбойнике и женихе-мертвце. Особое развитие эти сюжеты получили в романтической литературе – к примеру, в “Женихе” А.С. Пушкина, балладах В.А. Жуковского “Людмила”, “Светлана”. В произведении Пушкина, где довольно детально воспроизводится свадебный обряд, главную героиню Наташу настораживает в поведении молодцев, среди которых и ее будущий жених, прежде всего то, что “Взошли толпой, не поклонясь, Икон не замечая, За стол садятся, не молясь И шапок не снимая...”.

Предчувствие Наташу не обманывает: “Злодей девицу губит, Ей праву руку рубит...”.

В балладах Жуковского изображается иной тип жениха – жених-мертвец.

В финале баллады Людмила наказывается за роптание на волю Бога и оказывается в могиле со своим женихом. В отличие от Людмилы героиня другой баллады Жуковского – Светлана – помнит об Ангелу-утешителе, молится иконам и не забывает в минуты уныния о Всевышнем. “Белоснежный голубок”, имеющий явно божественное происхождение, спасает ее от страшного мертвеца, с которым она все же решается отправиться в путь. Можно причислить к этим героиням Пушкина и Жуковского и Параску из повести Гоголя “Сорочинская ярмарка”. С того самого момента, как она подумала, что “не годится так... а силы недостает взять от него руку”, Параска ведет себя крайне пассивно и полностью поддается жениху.

Сочетание в образе Грицько демонических черт и свойств обычного парубка оставляет от этого персонажа двусмысленное впечатление, не проясняющееся и в конце произведения. Подчеркивая неоднозначность Грицько, автор ставит проблему соотношения добра и зла, светлого и темного начал в человеческой душе.

Литература

1. Кулиш П. Гоголь как автор повестей из украинской жизни // Основа. 1861. № 4. С. 81, 83.
2. Гоголь Н.В. Полн. собр. соч.: В 23 т. М., 2001. Т. 1.
3. Зуева Т.В., Кирдан Б.П. Русский фольклор. Учебник для высших учебных заведений. М., 2003. С. 88.
4. Малорусские народные предания и рассказы. Свод Михаила Драгоманова. Издание Юго-Западного Отдела ИРГО. Киев, 1876. С. 56.
5. Манн Ю.В. Русская литература XIX века. Эпоха романтизма. М., 2001. С. 114.
6. Максимов С.В. Нечистая, неведомая и крестная сила. М., 1989. С. 68–69.
7. Славянские древности. Этнолингвистический словарь: Под общ. ред. Н.И. Толстого. Т. 1. М., 1995. С. 152.
8. Зуева Т.В. Цветовые символы в славянских переходных обрядах // Человек. Язык. Искусство. Материалы Межвузовской научно-практической конференции 14–16 ноября 2000 г. М., 2001. С. 95.





“Блещу я царицей в нарядных стихах...”

О поэзии М. А. Лохвицкой

© Ю. Е. ПАВЕЛЬЕВА

Мирра Александровна Лохвицкая (1869–1905), поэтесса, одаренная несомненным талантом, была широко известна при жизни и забыта вскоре после смерти. Однако интерес к творчеству “русской Сафо”, как с почтением называли ее современники, возникает снова [1].

Впервые Лохвицкая выступила в печати в 1888 году, последнее прижизненное издание датируется 1905 годом. Произведения поэтессы охотно публиковали такие журналы, как “Север”, “Художник”, “Всемирная иллюстрация”, “Русское обозрение”, “Северный вестник” и другие. Она дважды была удостоена Пушкинской премии Академии наук, ее сборники отмечались также “почетными отзывами” Академии.

Стихотворения поэтессы были любимы современниками, о чем оставил весьма красноречивое свидетельство Вас. Ив. Немирович-Данченко: “Ее строфы заучивались наизусть и – о верх популярности! – щеголеватые писаря, помадившиеся щедрой лимонной, писали их легковверным модисткам, выдавая за свои” [2]. Но в то же время лирикой Лохвицкой была увлечена молодая М.И. Цветаева, а Игорь-Северянин создал “культ Мирры”, объявив поэтессу (наряду с К.М. Фофановым) предтечей эгофутуризма, ее страстной поклонницей была загадочная и печальная Черубина де Габриа.

Лохвицкая принадлежала к тем поэтам, которые оказались неким связующим звеном между классической и “новой” изящной словесностью, – поэтам эпохи “безвременья”. Исследуя их творчество, С.В. Сапожков писал, что «поэзия 1880–1890-х гг. – эта та ступень в развитии стихотворного стиля, когда завоевания “большой” классической лирики вот-вот перейдут ту невидимую черту, которая отделяет ее от “мас-

совой поэзии”». Но значительные поэты того времени смогли удержаться на грани, не слиться до конца ни с эпигонской, ни с классической лирикой. «Этим они, – продолжает исследователь, – действительно отличались от множества других авторов, составивших в 1880-е годы сферу “массовой поэзии”, особенно заявившей о себе в тот исторический период. Несовершенство формы своих стихов Случевский, Фофанов, Алухтин, Минский, Мережковский, Лохвицкая и ряд других поэтов конца столетия сумели переплавить в целенаправленную систему художественных средств, самим несовершенством своим выражающую трагизм “эпохи безвременья”» [3].

Драма “вторичности культурных идеалов” (С.В. Сапожков) в творчестве Лохвицкой воплотилась в использовании орнаментального стиля (риторическое восклицание и риторический вопрос, синтаксический параллелизм, гипербола, амплификация, антитеза, градация, катахреза, цитатность – характерные особенности поэтики Лохвицкой), в пристрастии к экзальтации, в выборе определенных образов (мечта, сон, греза).

Желание освободиться от обыденности, серости жизни уводит поэтов “фофановской школы”, к которой, как отметил Г.А. Бялый, принадлежит Лохвицкая [4], в мир мечты, яркой фантазии. Эта характерная для эстетики 1880–1890-х годов черта составляет сущность многих стихотворений поэтессы. Для ее творчества важен и традиционно романтический, разрабатываемый в русле орнаментального стиля, мотив сна – как царство грез, мечты:

Туда мы умчимся, где царствуют розы,
Любимые дети весны,
Откуда слетают к нам ясные грезы,
Прозрачные, светлые сны.

(“Вы снова вернулись – весенние грезы...”)

Да, это был лишь сон, но призрак мне дороже
Любви живой роскошного цветка.

(“Да, это был лишь сон! Минутное виденье...”)

И призрачный мир мне дороже
Всех мелких страстей и забот, –
Ведь сердце осталось все то же, –
И любит, и верит, и ждет!

(“Идеалы”)

Власти грез отдана,
Затуманена снами,
Жизнь скользит, как волна
За другими волнами...

(“Власти грез отдана...”)

Лохвицкая широко использовала в своих стихах так называемые “поэтизмы”: “лазурные дали”, “пестрый ковер ароматных цветов”, “чары весенней природы” и т.п. Свои переживания она, подобно С.Я. Надсону, украшает *цветами и огнями*. Близко ее стилистике и такое свойство поэзии Надсона, как “пафос безотчетного порыва” (С.В. Сапожков). *Порывы* “в далекие страны, незримые оку земному”, – важная черта поэтики Лохвицкой. “Горячка чувства”, амплитуда страсти, сила желаний – вот что прежде всего занимает поэтессу:

Поймут ли страстный лепет мой,
 Порывы пламенных мечтаний,
 Огонь несбыточных желаний,
 Горячий бред тоски больной?
 (“Поймут ли страстный лепет мой...”)

Безмерность чувств лирической героини выражена в стихотворении “Я жажду наслаждений знойных”:

Я жажду знойных наслаждений,
 Нездешних ласк, бессмертных слов,
 Неопикуемых видений,
 Неповторяемых часов.

Отметим принцип построения стихотворения: каждая новая строфа начинается одинаковой фразой: меняется только порядок слов. Этот эффектный прием – метабола – призван усилить выраженное желание, подчеркнуть его значимость.

Особого внимания требуют эпитеты: ласки – *нездешние*, слова – *бессмертные*, видения – *неопикуемые*, часы – *неповторимые*, сон – *божественный*. Все эти экспрессивные определения имеют семантику “сверхпризнаков”: лирической героине требуется нечто сверхъестественное, то, что в реальности недостижимо.

Один из ведущих мотивов творчества Лохвицкой проявился в стихотворении “Если б счастье мое было вольным орлом...”, анализируя которое, А.А. Голенищев-Кутузов писал: “нельзя... в более яркой, оригинальной и красивой форме выразить порыв молодой и страстной любви, не верящей в возможность преград и смело заявляющей о своей всепобедной силе” [5]. Ее лирической героине прежде всего требуется полнота обладания возлюбленным, безраздельное владычество в его сердце. Ее эгоцентризм не знает меры.

Стихотворение представляет собой ряд условных сложноподчиненных предложений с союзом ‘если’ (значение условия усилено частицей *б*):

Если б счастье мое было вольным орлом,
 Если б гордо он в небе парил голубом, –
 Натянула б я лук свой певучей стрелой,
 И живой или мертвый, а был бы он мой!

Если б счастье мое было чудным цветком,
 Если б рос тот цветок на утесе крутом, –
 Я достала б его, не боясь ничего,
 Сорвала б и упиалась дыханьем его!

Если б счастье мое было редким кольцом,
 И зарыто в реке под сыпучим песком,
 Я б русалкой за ним опустила на дно, –
 На руке у меня заблестало б оно!

Если б счастье мое было в сердце твоём, –
 День и ночь я бы жгла его тайным огнем,
 Чтобы мне без раздела навек отдано,
 Только мной трепетало и билось оно.

Эта амплификация удивительно пропорциональная, точно выверенная. Отмечая синтаксический параллелизм, укажем на авторский знак: запятую, усиленную тире. Каждая из четырех строф стихотворения представляет собой условие “задачи” и – действие, совершаемое для ее решения. В этом случае запятая – необходимая для успешной реализации задуманного краткая остановка, а тире – подтверждение задуманного, собственно, следствие.

Стремление преодолеть однообразную картину будней, перенестись в мир яркой фантазии достигается риторическим напором.

Я не знаю, зачем упрекают меня,
 Что в созданных моих слишком много огня,
 Что стремлюсь я навстречу живому лучу
 И наветам унынья внимать не хочу.

Что блещу я царицей в нарядных стихах
 С диадемой на пышных моих волосах,
 Что из рифм я себе ожерелье плету,
 Что пою я любовь, что пою красоту.

(“Я не знаю, зачем упрекают меня...”)

О сильных чувствах – стихотворения “Песнь любви” (1889), “Призыв”, “Песнь торжествующей любви”, знаменитое “К Солнцу!” (“Солнца!.. дайте мне солнца!.. Я к свету хочу!..”) и множество других. Поэтика “крайних полюсов”, когда добро и зло оказываются равно интересными автору, если их эстетическое воздействие способно разрушить

посредственную обыденность, объединяет стихотворения “В кудрях каштановых моих...” (“Слилось во мне сиянье дня Со мраком ночи беспробудной...”), “В наши дни”, “О мы – несчастные...” (“О мы – несчастные, Мы – осужденные, Добру причастные, Злом побежденные...”), “Мой тайный мир – ристалище созвучий...”, “Союз магов” (“...В мой мир, где слито доброе и злое, Где вечно сущим кажется бывшее – Вне времени, как вне добра и зла...”) и другие. И можно было бы сказать, что для Лохвицкой – особенно ранней (1880–1890) – эстетическое выше нравственного: “К чему терзанья, воспоминанья? Эван, эвоэ! спешим на пир!” (“Вакхическая песня”).

Божественное и демоническое, добро и зло оказываются для нее подчас равноправными. Предметом ее поэзии могла быть как сверхдобродетель, так и сверхпорок, главное – амплитуда страсти, глубина переживаний, красота объектов воспевания.

Экзотика и экзальтация постоянно присутствуют в ее стихах, а это определяет характерные черты стиля, любовь к гиперболе, синтаксическому параллелизму – тем приемам, что составляют существо риторического стиля, возрожденного в поэзии 1880–1890-х годов и унаследованного Лохвицкой от Надсона, Минского, Фофанова, раннего Бальмонта.

Конечно, преклонение перед эстетическим в ущерб этическому для Лохвицкой было временным. Так, в стихотворении “Как будто из лунных лучей сотканы...” пропуском в “заповеданный лес” – волшебную страну фей и чудес – является чистота души: “сердце незлобно и вера тверда”. В финале стихотворения звучит грозное предупреждение: “Но бойся, с душою преступной злодей, – Свершится таинственный суд...”. Имморалистическая тенденция побеждается совершенно другой – поисками *своего* пути к Богу. Для поэтессы важна вера в “неколебимую истину”: “...Ни на миг в душе моей не зарождалось сомненье...”, – пишет она в стихотворении “Искание Христа”, опубликованном в журнале “Север” (1892. № 13).

Важной стилиобразующей чертой лирики Лохвицкой была так называемая “цитатность” – невозможность освободиться от образов, мотивов и ритмической организации произведений поэтов-классиков. Еще Д.Н. Михайлов указывал на то, что, например, стихотворение “Фея счастья” «напоминает дактилическим своим размером “Три пальмы” Лермонтова» [6].

Реминисценция – один из наиболее характерных творческих приемов Лохвицкой, который выступает на различных уровнях: например, схема “обращение + вопросительное предложение с *ли*” в ее стихотворении “Гимн возлюбленному” напоминает стихотворение Ф.И. Тютчева “Накануне годовщины августа 1864 года”. Начало стихотворения “Материнский завет”: “Дитя мое, грядущее туманно...” – почти прямая реминисценция из Лермонтова “Мое грядущее в тумане...”

Как утверждает В.Г. Макашина, Лохвицкая “сделала в поэзии почти невозможное. То, что к началу 90-х годов XIX века в читательском сознании уже было штампом, общим местом, “банальщиной”, над чем иронизировали, что воспринимали лишь как объект для пародии, она заявила в своей лирике без тени иронии, – и то, что считали банальным, у нее оказалось возвышенным, то, что числилось шаблонным, у нее звучало как идущее из глубины сердца. В этом и особенность поэзии Лохвицкой, и загадка, которую еще предстоит разгадать” [7].

Литература

1. *Александрова Т.Л.* Жизнь и поэзия Мирры Лохвицкой // Лохвицкая М. Путь к неведомой Отчизне. М., 2003; *Шевцова Т.Ю.* Творчество М. Лохвицкой: Традиции русской литературной классики, связь с поэтами – современниками / Дисс. ... канд. филол. наук. М., 1998.
2. *Немирович-Данченко В.И.* Погасшая звезда // Немирович-Данченко В.И. На кладбищах. Ревель, 1921. С. 136.
3. *Сапожков С.В.* Русские поэты “безвременья” в зеркале критики 1880–1890-х годов. М., 1996. С. 90.
4. *Бялый Г.А.* Поэты 1880–1890-х годов. Л., 1972. С. 58.
5. *Голенищев-Кутузов А.А.* М.А. Лохвицкая (Жибер). Стихотворения. (М., 1896). Критический разбор. СПб., 1900. С. 2.
6. *Михайлов Д.Н.* Мирра Александровна Лохвицкая (Жибер) // Михайлов Д.Н. Очерки русской поэзии. Тифлис, 1904. С. 493.
7. *Макашина В.Г.* “Страсть к волосам”: Фет – Лохвицкая – Цветаева // А.А. Фет: Проблемы изучения жизни и творчества. Курск, 1998. С. 75.



Египетские мифологемы у Д.С. Мережковского

© Е. А. ОСЬМИНИНА,
кандидат филологических наук

Египет, безусловно, был темой русского Серебряного века [1], – но не для Д.С. Мережковского. Писатель пришел к нему позднее, в эмиграции, и как будто досказал недосказанное: об Атлантиде – за В. Брюсовым, о Египте – за В. Розановым, о Греции – за Вяч. Ивановым. Первоначально Египет открывал череду древних культур в трактате “Тайна Трех” (1923). Этот трактат, по сути, остался неоконченным: писатель рассказал о Египте, Вавилоне и только подвел к древнему Израилю (продолжение было написано семь лет спустя)... Во всех вышеперечисленных культурах выделялся миф об умирающем-воскресающем боге и его связи с грядущим христианством. В отношении Египта Мережковский пользовался исследованиями культуролога Дж. Фрейзера, предваряющими его монументальный труд “Золотая ветвь”, и обращался к мифу об Озирисе и Изиде, в изложении греческого писателя Плутарха. Однако этим мифом Египет вовсе не исчерпывался – в “Тай-

не Трех” была описана вся культура страны: ее религиозные доктрины, космогонии и теогонии, погребальные обряды и обычаи, шедевры архитектуры, скульптуры, живописи, светской и религиозной литературы. В результате на страницах книги нарисовался определенный “образ Египта”, с устойчивыми архетипическими характеристиками.

Затем из документальной прозы он перешел в художественную – в “египетскую дилогию”, состоящую из двух романов: “Рождение богов. Тутанкамон на Крите” (1924) и “Мессия” (1926–1927). Исключительный интерес к Египту в это время имеет некоторые объективные обоснования. В ноябре 1922 года Г. Картер нашел гробницу Тутанхамона; работа растянулась на несколько лет, ее последний этап – снятие крышки саркофага – пришелся на февраль 1924 года. Открытие стало мировой сенсацией. Каждый шаг археологов освещался прессой, в том числе и русской. Этот интерес, вероятно, подсказал Мережковскому успех не только документального, но и художественного произведения, связанного с Египтом. Он взялся за дилогию сразу после публикаций двух первых частей “Тайны Трех” (вероятно, потому и не довершил трактат) и использовал в названии романа имя фараона, гробница которого только что была обнаружена. Сам заглавный герой – явно второстепенный персонаж, кажется, он и нужен-то для заглавия, для привлечения внимания к теме. По-видимому, сразу предполагался и второй роман, “Мессия”: первое произведение отличается некоторой незавершенностью, в нем многократно упоминается главный герой второго, фараон Ахенатон (Эхнатон); понятно, что действие приведет к нему.

Мифологемы, уже найденные и обоснованные в трактате, здесь разворачиваются, воплощаясь в художественной ткани произведения: в образах героев, интерьерных пейзажах, общем лирическом настроении книги. По кратким ссылкам в трактате понятны и основные источники, используемые Мережковским в освоении египетской темы. Это труды французских египтологов, еще в начале века переведенные на русский язык: Г. Масперо “Древняя история. Египет. Ассирия” (1892), “Египет” (1915) и А. Морэ “Во времена фараонов” (1913), “Цари и боги Египта” (1914).

Самая главная мифологема, проходящая через все произведения Мережковского, основная для изображения героя: *богочеловек-человек-бог*.

В Египте богочеловек – это фараон, согласно государственной религии. Три первых царя V династии считались сыновьями бога солнца Ра; фараоны именовались “сынами бога” Ра уже в эпоху правлений IV династии Древнего царства. Как указывал А. Морэ: «Теория солнечной родословной очень древняя, но впервые нашла свое историческое применение во времена V династии, когда цари приняли титул “сына Солнца”» [2. С. 24], “По преданию, сохранившемуся в королевском Туринском папирусе и освященному Манефоном и Диодором. фараонам

предшествовали в земле египетские боги, полубоги и тени” [3. С. 105]. С этим связан и обычай египетских кровосмесительных браков, которые описывал Мережковский, – они вызваны необходимостью сохранить чистоту “солнечной крови” (современная египтология не придерживается подобных взглядов).

Кроме того, и в религиозном культе после совершения погребальных обрядов умерший фараон делался богом – Озирисом. А с развитием египетской религии – богом становился всякий умерший, над которым были произнесены соответствующие молитвы и произведены необходимые обряды. Об этом писал А. Морэ: “Осирийский ритуал делал мертвого равным богу” [3. С. 158], “каждый умерший назывался Осирис такой-то” [2. С. 83], а затем Мережковский: “Всякий умерший, воскресая, становится Озирисом” [4. С. 93]. При этом Морэ, подробно описывая ритуал, говорил о воскресительной роли жреца или старшего сына, уподобляемых Хору или Тоту в мифе; Мережковский же – о роли Изиды.

В “Мессии” фараон и представляется окружающим таким богом-царем. Он сравнивается с Озирисом, «богом, чье имя: “Тихое Сердце”» [5. С. 186], а в перспективе – и с грядущим “Сыном”, чьей “тенью” являются языческие умирающие-воскресающие боги.

Но есть и здесь противоположная сторона: “Полный свет Египта – в богочеловечестве, сумерки – в человекобожестве” [4. С. 125]. Фараон оказывается деспотом, неограниченным владыкой, это достаточно распространенный образ в мировой литературе. Еще Геродот представлял царей-пирамидостроителей жестокими тиранами (тут Мережковский с ним спорил); образ фараона-гонителя еврейского народа дает нам Библия: Египет становится символом рабства, плена, угнетения. В художественной литературе, как пишет Л. Панова, неограниченную власть олицетворяет фараон Рамзес Великий (Рамзес II); в русской поэзии наиболее яркое воплощение этому образу дал, как нам кажется, В.Я. Брюсов.

У Мережковского в “Мессии” обратная сторона “богочеловечества” показана достаточно ярко. Ахенатон представляется окружающим не только богом. Военачальник Рамоз «кто в царе, бог или бес, никогда не мог решить, и только теперь, глядя на него, решил: “Бес!”» [5. С. 362]. Подобные чувства испытывают и другие герои, окружающие фараона: Дио, Пентаур, Иссахар. Эту двойственность души и облика своего героя Мережковский замечательно обыгрывает, используя подлинные историко-культурные реалии. Дело в том, что именно в эпоху Ахенатона в египетском искусстве был принят так называемый “амарнский стиль”, отличающийся характерными особенностями, чрезмерным натурализмом. Вот описание изваяния фараона в романе: “Страшно исхудалые ноги и руки, как ножные и ручные кости костяка; узкие, детские плечики, а бедра широкие, пухлые; впалая, с пухлыми, точно жен-

скими, сосцами грудь; вздутый, точно беременный, живот; голова огромная, с тыквоподобным черепом, тяжело склоненная на шейке, тонкой, длинной и гнущейся, как стебель цветка; срезанный лоб, отвислый подбородок, остановившийся взор и блуждающая на губах усмешка сумасшедшего” [5. С. 186]. Мережковский пользуется здесь изображениями из книги А. Морэ: рельефом на пограничной стеле в Ахетатоне, бюстом Аменхотепа IV, работы скульптура Тутмоса. Л. Панова предполагает, что он знал и о карнакских колоссах Эхнатона. На контрасте этих “амарнских” и обычных портретов фараона и играет писатель.

С мифологемой богочеловека-человекобога связана, как ее расширение, вторая важнейшая пара Мережковского: богочеловечество-бесочеловечество, или “Царство Божье” – “дурная бесконечность”.

Царство Божье на земле, рай, золотой век, богочеловечество, Третье Царство Духа – все это обозначение для конца истории, согласно хилиастической историософской концепции писателя. В Египте он находит множество примеров проявления этой мифологемы. В трактате – в описании произведений живописи и скульптуры. В романе – в образе Ахетатона, города, который строит Ахенатон: “Сад Солнца, рай Божий” [5. С. 369], “Божий рай” [5. С. 376]. Особенно это видно в описании дворца Мару-Атон: “Райские сады Мару-Атону – Сени-Солнца – находились к югу от города, где скалы горной пустыни подступали к реке. Сладкое дыханье северного ветра веяло и в самые жаркие дни под кущами вечнозеленых пальм и кедров, благоухавших, как фимиамные кадильницы. Каждое дерево посажено было в особую ямку, вырытую в песке, наполненную нильским черноземом и обведенную кирпичным валиком, чтобы не стекала вода при поливке. Всюду были цветники, пруды, островки. Мостики, беседки, часовни, терема, легкие, сквозные, решетчатые, узорчатые, великолепно расписанные и раззолоченные” [5. С. 274].

Атрибутами “Царства Божьего” также являются тишина и молчание (это – характеристики экстаза, который ведет к богочеловечеству). Они присущи Египту, здесь Мережковский сам указывал на используемый авторитет: «“Первое и главное впечатление наше от всего египетского – невероятное молчание” (Spengler). Высшее развитие математики в зодчестве, в проведении каналов, в исчислениях астрономических – и ни одной математической книги; законодательство, которое служит образцом для Римской империи (недаром мечтает Цезарь сделать Александрию столицей мира), – и ни одного законодательного кодекса; бездонная мудрость – и никакой философии» [4. С. 49–50],

И, наконец, Египет – “вечен”, что тоже связано с религиозно-философской концепцией писателя; время противопоставляется вечности, в которой и происходит мистерия Царства Божьего. При описании артефактов в трактатах нет обозначений принятых периодов, в романе пи-

сатель сдвигает временные рамки. До известной степени можно сказать, что Мережковский антиисторичен.

На противоположном полюсе “вечности” находится “дурная бесконечность”, повторяемость, неоконченность, “неподвижность” Египта: «В свете изначальном воскресение совпадает с концом этого мира, началом того, а в наступающих сумерках идея конца потухает, оба мира не соединяются, а только смешиваются, и воскресение становится “повторением жизни” – *petapsh*. Все, что было в веках, повторяется в вечности с совершенным тождеством» [4. С. 124]. Действительно, спрямляя факты и укладывая их в схему, можно говорить о некоторой неподвижности, присущей Египту в его политической и отчасти религиозной системе. Неограниченная монархия фараона, властителя всего Египта, существовала на протяжении Древнего, Среднего и Нового царств (прерываемых Первым и Вторым переходными периодами). Богослужения и похоронные культы, основанные на единой богословской доктрине, в сути своей не изменялись. Все это дает повод говорить о некотором консерватизме и “неподвижности” Египта. Об этом писал в своей истории египетского искусства Г. Масперо, хотя он же прослеживал и определенные этапы развития этого искусства.

В “Мессии” тезис о “дурной бесконечности”, повторяемости проиллюстрирован через размышления второстепенных героев, жрецов Птамоза и Мериры. Птамоз утверждает: “Кружится, кружится вечность и возвращается на круги свои. Все, что было в веках, будет в вечности. Был и Он. Первое имя Его – Озирис. К нам пришел, и мы Его убили и дело его уничтожили (...) И снова придет, и мы снова убьем Его, и дело Его уничтожим. Мы победили мир, а не Он” [5. С. 215]. Мерира скучает и разговаривает с тенью Ахенатона: “Скучно, Эира, очень скучно! Да неужто и там, у вас, такая же скука? Все то же, все то же – тухлая рыба в вечности...” [5. С. 386].

И, наконец, последняя пара мотивов, связанных с Египтом: *воскресение – всемерть*. В трактате писатель находит ей иллюстрации во многих областях и отраслях культуры. В обрядах: “Воскрешение мертвых здесь, в Египте, в самом деле, *начато*” [4. С. 60], мифах: «не “плодородие”, не рождение и смерть знаменует фалл Озириса, а воскресение» [4. С. 109], зодчестве: “Пирамида, *pyamis*, по-египетски *pir-m-us*, значит “исхождение из земли”, “восстание мертвых”, “воскресение» [4. С. 43], скульптуре: «египетское имя Сфинкса – *Nor-Harmakhitu*, “Бог солнца восходящего”, или Шерга, “становление” (*Werden*), “исхождение из небытия в бытие”, “Воскресение» [4. С. 43].

В “Мессии” подробно описывается именно заупокойный обряд (похороны царевны Макитатон) и с конечным выводом: “Мумию поставили у входа в гробницу, и в черноте зияющего зева солнце залило ее последними лучами. Два жреца, один в личине шакалоглавого Анубиса, другой – сокологлавого Гора, стали по обеим сторонам мумии, и жрец-

заклинатель, херхэб, совершая таинство Апра, отвержение уст и очей, начал читать заклинанье по свитку папируса:

– Встань, встань, встань, Озирис Макитатон! Я, сын твой, Гор, пришел возратить тебе жизнь, соединить кости твои, связать мышцы твои, совокупить члены твои. Я – Гор, твой сын, рождающий отца своего. Гор отверзает очи твои, чтобы видели, уста, чтобы говорили, уши, чтобы слышали; укрепляет ноги твои, чтобы ходили, руки, чтоб делали.

Жрец обнял мумию, приблизил лицо к лицу ее и дохнул из уст в уста.

– Плоть твоя растет, кровь твоя течет, и здравы все члены твои.

– Я есмь, я есмь. Я жив, я жив. Я не познаю тления, – ответил другой, спрятанный за мумию жрец, как будто сама она говорила.

– Ты, бог среди богов, ты преображенный, неуничтожаемый, повелеваешь богам, – возгласил херхэб.

– Я есмь единый. Бытие мое – бытие всех богов в вечности, – ответил мертвец, и мертвые глаза заблестели, живее живых. – Он есть – я есмь; я есмь – Он есть!” [5. С. 332–333].

В описании обряда бальзамирования и воскрешения Мережковский пользуется трудом Г. Масперо “Древняя история. Египет. Ассирия” и двумя вышеназванными книгами А. Морэ.

Мотиву воскрешения противоположен мотив смерти, *всесмерти*: «Начало Египта – воскресение, а конец – “всесмерть”» [4. С. 128]. Мережковский обосновывает его с помощью Библии, пророчеств Гермеса Трисмегиста и заключает: “Над другими землями опустошение проходит однажды, а над Египтом всегда. На другие народы смерть дохнет, и умирают, а на Египет дышит – и смерти нет конца” [4. С. 120]. В качестве примеров в трактатах приводится описание колоссов с надписью Озимандрия (Рамзеса Великого), разоренного кладбища Долины Царей, сделанное А. Норовым (в его “Путешествии по Египту и Нубии в 1834–1835 гг.”), а также литературные тексты Египта: “Песнь Арфиста” (один из 15 текстов, частично Среднего, частично Нового царства), песнь Манероса, надгробная песнь времем Птолемеевых.

В романе “Мессия” своеобразной иллюстрацией означенного мотива служат изображения заброшенных храмов: сначала Амона, после реформы Эхнатона (в романе – Ахенатона), а затем Атона, в результате возвращения к прежней религии. Приходит в упадок сам город Ахетатон: “Сад Солнца, рай Божий, превратили в ад” [5. С. 369], “Там, где некогда цвел Божий рай, была теперь пустыня” [5. С. 376]. Рушатся его храмы: “... деревянные стропила в потолках обгорели, а кое-где потолки провалились, столпы обрушились. Плоские, на стенах, изваянья царя Ахенатона, приносящего жертву богу Солнца, всюду были разбиты, иероглифные надписи стерты или замазаны. На семи дворах-святынях все триста шестьдесят пять алебастровых жертвенников были тоже разрушены, и место их осквернено; целыми обозами свозились сюда

и сваливались нечистоты из Селения Пархатых, так что в первое время нельзя было пройти мимо, не задохнувшись от смрада” [5. С. 383]. Используется то же описание пирамидного кладбища, что и в “Тайне Трех”. “Все остальные гробницы были разрушены; царские мумии выброшены и, валяясь на песке, рассыпались пылью под ногами прохожих. Только летучие мыши, гиены да шакалы гнездились в гробах” [5. С. 342].

Сам мотив, мифологема смерти по отношению к Египту весьма традиционна и имеет вполне реалистическое обоснование. Страна состоит из “Черной Земли”, плодородной почвы вдоль Нила, и “Красной земли”, пустыни; за ней возвышаются горы, снабжавшие строителей камнями. Как пишут современные исследователи, дома и первые храмы строились из сырцового кирпича, на краю Черной Земли, и они сохранялись чрезвычайно плохо. Каменные же здания возводились рядом с местом добычи материала, на Красной земле: “Здесь, на земле духов, где не мог жить никто, кроме мертвых, египтяне строили пирамиды, погребальные храмы и гробницы <...> Архитектура этого места, архитектура смерти, сохранилась в жарком сухом песке более или менее хорошо. Не удивительно, что первые египтологи стремились добраться до захоронений высших слоев общества, уверенные, что найдут сокровища. Музеи стран запада быстро заполнились мумиями, саркофагами, погребальными сосудами и могильной утварью, а египтяне заработали незаслуженную репутацию психически нездорового народа, которым владеют мысли о смерти” [6].

В русской литературе, как указывает Л. Панова, этот мотив впервые звучит у Н.В. Гоголя. Одушевленный Древний Египет, в миниатюре “Жизнь” (1835), вещает следующее: “Все тлен. Низки искусства, жалки наслаждения, еще жалче слава и подвиги. Смерть, смерть властвует над миром и человеком! Все пожирает смерть, все живет для смерти. Далеко, далеко до воскресения, да и будет ли когда воскресение” [7]. Из современников Мережковского – В. Брюсов в “Учителях учителей” (1917) писал о том же: «Что такое Египет в обычном представлении? Это – пирамиды, это – мумии, это – религия смерти, книга мертвых, полагаемая на грудь покойнику, Осирис, судящий в подземном мире, посмертный суд на фараоном, именование кладбища “градом живых»» [8]. В западной литературе, опять же по Л. Пановой, символ Египет – “всесмерть” можно найти в поэзии французского Парнаса.

Таким образом, всему Египту, как культурному архетипу, присуща у Мережковского определенная двойственность. Каждой “положительной” его характеристике и мотиву соответствует противоположно-подобный “отрицательный”. Это – общая особенность поэтики писателя, еще при жизни указанная многими критиками, и точнее всех Н.А. Бердяевым: “Он остается в вечном двоении, и это двоение – наиболее характерное, наиболее оригинальное в нем” [9]. “Противопо-

ложно-подобие”, двойственность лежит в основе композиции его книг, изображения героев, пейзажа. То же, как мы видим, проявилось и при конструировании образа Египта.

Но – наряду с двойственностью (в силу самого принципа) в образе Египта есть и определенное единство, без которого невозможно создать сам “образ страны”. Египет у Мережковского предстает в виде некоего концепта, имеющего устойчивое историко-культурное и мифопоэтическое содержание в виде вышеперечисленных пар мотивов. Везде писатель основывается на археологических, культурологических, литературных источниках, ссылается на известные свидетельства и укоренен в определенной традиции (которую указывает не всегда). В одушевлении культуры (Мережковский пишет о “душе Вавилона”, “душе Египта”) он идет от римской религии, где “гений римского императора” был выражением “гения римского народа”. В самом толковании страны как некоего “ноумена”, “образа”, архетипа – от неоплатонической философии. Можно вспомнить и Тертуллиана, с его образами “Афин” и “Иерусалима”. То есть в своих культурологических построениях Мережковский находится в русле философии эллинизма. На наш взгляд, она и является той основной традицией, которая взрастила “гений” самого Мережковского. Но это уже – совсем другая история.

Литература

1. *Панова Л.* Русский Египет. Александрийская поэтика Михаила Кузмина. Кн. 1, 2. М., 2006.
2. *Морэ А.* Цари и боги Египта. М., 1998.
3. *Морэ А.* Во времена фараонов. М., 1998.
4. *Мережковский Д.С.* Тайна Трех. М., 1999.
5. *Мережковский Д.С.* Мессия. СПб., 2000.
6. *Тилдесли Дж.* Египет. Возвращение утерянной цивилизации. М., 2007. С. 22.
7. *Гоголь Н.В.* Собр. Соч.: В 9 т. Т. 6. М., 1994. С. 248.
8. *Брюсов В.Я.* Собр. Соч.: В 7 т. Т. 7. М., 1975. С. 340–341.
9. *Бердяев Н.* Новое христианство (Д.С. Мережковский) // *Д.С. Мережковский: pro et contra.* СПб., 2001. С. 335.

“Сиротства человек не терпит”

Тема семьи и детства в прозе Андрея Платонова

©В. Д. СЕРАФИМОВА,
кандидат филологических наук

Любимые темы прозы Платонова – тема детства, дома, взаимоотношений взрослых и детей. В литературно-критической статье на повесть С.Т. Аксакова “Детские годы Багрова-внука” (1941) появляется платоновское определение человека как *общественного существа*: “Именно в любви ребенка к своей матери и к своему отцу заложено его будущее чувство общественного человека; именно здесь он превращается силою привязанности к источникам жизни – матери и отцу – в *общественное существо* (Курсив здесь и далее наш. – В.С.), потому что мать и отец в конце концов умрут, а потомок их останется – *и воспитанная в нем любовь*, возжженное, но уже не утоляемое чувство, *обратится*, должно обратиться, *на других людей*, на более широкий круг их, чем одно семейство. *Сиротства человек не терпит*, и оно величайшее горе” [1. С. 330].

Платонов развивает эти взгляды в рассказах “Третий сын”, “Маленький солдат”, “Возвращение”, “Цветок на земле”, “Июльская гроза”, “Еще мама” и других. В рассказе “Третий сын” (1936) звучит мотив сиротства, опустевшего дома. Шестеро братьев собираются в отчем доме на похороны матери. Все они взрослые, состоявшиеся люди, но “каждый ее сын почувствовал себя *одиноким и страшно*, как будто где-то в темном поле горела лампа на подоконнике старого дома, и она освещала ночь, летающих жуков, синюю траву, рой мошек в воздухе, – весь детский мир, окружающий старый дом, *оставленный* теми, кто в нем родился; в том доме никогда не были затворены двери, чтобы в него могли вернуться те, кто из него вышел, но никто не возвратился назад. И теперь точно сразу погас свет в ночном окне, а действительность превратилась в воспоминание”.

Писатель подчеркивает силу сыновей и “скупое тело” их умершей матери: “громадные мужчины – в возрасте от двадцати до сорока лет”, “могучая полдюжина сыновей”, “отец ростом меньше самого младшего сына”, “гвардия потомков покойной старухи”. Возникает мотив самоотверженной материнской любви: “давшая сыновьям обильную, здоровую жизнь, сама старуха оставила себе экономичное, маленькое, скупое тело и долго старалась сбереечь его, хотя бы в самом жалком виде,

ради того, чтобы любить своих детей и гордиться ими, – пока не умерла”.

С темой родительского дома, образами матери, отца в рассказе связано “открытие пространства будущего”, преемственность поколений, “тайна народа, помогающая ему выжить” (слова Платонова). Художественно исследуя тему детства, семьи, Платонов разрабатывает свой эстетический идеал “коллективного человека”, “общественного существа” как единицы гармонического общества. В финале рассказа сыновья молча оплакивают мать (опять возникает мотив важности для человека родительской любви), “скрывая друг от друга свое отчаяние, свое воспоминание о детстве, о погибшем счастье любви, которое беспрерывно и безвозмездно рождалось в сердце матери и всегда – через тысячи верст – находило их, и они это постоянно, безотчетно чувствовали и были сильнее от этого сознания и смелее делали успехи в жизни”.

Платонов показывает материнские, отцовские чувства как исток любви, которую он считает, как и добро, вечной категорией. Чтобы у ребенка было “спокойное, счастливое сердце”, он должен ощущать тепло родительского дома, любовь отца, матери. В повести “Котлован” (1929–1930) дочь умершей “буржуйки” Настя все время вспоминает мать. “Я ее помню и во сне буду видеть”, – говорит она строителям “общепролетарского дома”. Тяжелобольная, она просит Чиклина: “Чиклин, положи мне ближе мамины кости, я их обниму и начну спать. Мне так скучно сейчас стало”. В повести “Котлован” дано и платоновское определение понятия *дом*, его философская формула – емкая и значимая для всех времен и народов: “Дом должен быть населен людьми, а люди наполнены той излишней теплотой жизни, которая названа однажды душой”.

Бездомность, сиротство детей – “величайшее горе” в определении писателя-гуманиста. “Сиротство героев Платонова, – отметит Н.В. Корниенко, – это не индивидуальная черта их характера, а знак-символ разрушенной целостности мира национальной жизни и обезбожения мира” [2].

О страстном стремлении Платонова защитить детство от сиротства, “вечного горя”, от бесприютности, “ржавчины войны” повествует замечательный рассказ писателя “Возвращение” (1946). Мальчик Петруша побуждает отца, возвратившегося с фронта домой, мобилизовать все душевные ресурсы, чтобы стать опорой для детей, жены, “идти следом за сердцем”. Мальчик зовет отца к миру в семье. “У нас дело есть, жить надо, а вы ругаетесь, как глупые какие...”, – говорит ребенок отцу. Уязвленное самолюбие героя рассказа, капитана Иванова, заставляет его уйти от семьи. Из тамбура поезда он увидит бегущих вдоль путей своих детей – спотыкающегося сына Петрушу и маленькую Настю, которую тот волочит за собой. Дети приводят отца к подлинному “воз-

вращению”, помогают справиться с обидой, вернуться в свой дом. Внутренний монолог героя с емким образом “обнажившегося сердца” позволяет понять динамику его состояния: “...Прежде он чувствовал другую жизнь через преграду самолюбия и собственного интереса, а теперь внезапно коснулся ее обнажившимся сердцем”.

В рассказе “По небу полуночи” (1939) Платонов высказывает концептуальные для его художественного мира мысли об ответственности взрослых за судьбу ребенка, о борьбе с самым беспощадным врагом человечества – войной, лишаящей детей дома, жизни.

Герой рассказа, лейтенант германского военно-воздушного флота Эрих Зуммер встречается в испанской деревне, в разрушенном фашистами доме (“черепичная кровля и потолочный настил были снесены одним ударом артиллерийского снаряда, и теперь небо стало близким к глинобитному полу крестьянского дома”) мальчика, потерявшего рассудок. Зуммер понимает, что “безумие мальчика... печальнее смерти: оно обрекало его на невозвратное, *безвыходное одиночество*”. Ребенок, удалившийся “в свое безумие, как в единственную самозащиту своей жизни”, пробуждает в герое человеческое, он постигает, что “современный мир войны и фашизма редко будет дарить детям что-либо другое, кроме смерти и безумия”. “Нет, я не оставлю его жить одного. Я буду терпеть все и жить, чтобы он не умер. Я буду работать и драться, я не устану и не погибну”, – постигает платоновский герой свое назначение на земле. Подобно лермонтовскому ангелу, он взмывает высь на своем самолете, неся в объятиях “душу младую”, но не “для мира печали и слез”, а в мир надежды – “искать вместе с мальчиком, сидящим за его спиной, республиканскую землю и мать этого ребенка или тех людей, которые заменят ему родителей и возвратят в его душу утраченный разум”. Идеи преодоления платоновским героем губительных сил войны, возрождения связаны с образом ребенка, пробуждающего душевные силы взрослого, помогающего ему пройти “пути восхождения”.

“Прямым чувством жизни” написан платоновский рассказ “Июльская гроза” (1938). Исчерпывающую оценку рассказа дал К. Паустовский в “Книге скитаний”: “Ничего более ясного, классического и побеждающего своей прелестью, я, пожалуй, не знаю в современной нашей литературе. Только человек, для которого Россия была его вторым существом, как изученный до последнего гвоздя отчий дом, мог написать о ней с такой горечью и сердечностью” [3].

В рассказе председатель колхоза меняет свое решение поручить отцу девятилетней Наташи и четырехлетнего Антона перегнать племенного быка из колхоза, когда выясняется, что его детей застала на пути к бабушке в соседнее село страшная гроза, а их отец спокойно пьет чай. “Ребятишки – дело непокупное, и для сердца они больны, как смерть, а бык не то, быка и второй раз можно за деньги купить”, – говорит председатель.

Сколько поэзии, чистоты в облике девочки в восприятии взрослого человека, старика, встретившегося детям на пути в соседнее село: «...Ему [старик] запомнилось лицо Наташи – ее серые, чуткие, задумчивые глаза, внимательно открытый, дышащий детством рот, полные щеки и светлые волосы, обгоревшие на солнце и иссушенные полевым ветром. – “Хорошая будет крестьянка!” – решил старик».

Размышления старика в рассказе передают мысли самого Платонова о детстве как воплощении человеческих надежд: “Когда видел лица детей, ему хотелось или тотчас умереть, чтобы не тосковать по молодой, по будущей, счастливой жизни, или уже остаться жить на свете постоянно, вечно. Ему казалось, что настоящая охота жить только и приходит в старости, а в молодых годах этого понятия нет, тогда человек живет без памяти... Больше всего старику было жалко детей, и он чувствовал, как от них *входит в его сердце томительное, болящее счастье*, все еще и до сей поры мало знакомое и не прожитое <...> Уже задремав, старик все еще чувствовал *сладость в сердце*, вспоминая встреченных детей, прошедших молча и робко мимо него, но точно приравливших его к бессмертной, далекой жизни вместе с собою”.

Дети, в контексте платоновской концепции детства, несут в себе высший смысл жизни, с ними связаны надежды на будущее.

Рассказ заканчивается на мажорной ноте, теме дома, матери и детей, их защищенности: “Мать отворила дверь и позвала своих детей есть. Мать уже сварила для них картошку и полила ее сверху яйцами, а потом сметаной. Пусть дети растут и поправляются”.

“Семья, – по Платонову, – *теплый очаг*, где впервые и на всю жизнь согревается человеческое существо”.

Итак, тема детства неразрывно связана у писателя с мотивом дома, наполненного теплотой жизни, мотивом того особого счастья, которое обретает сердце человека в любви к ребенку.

Литература

1. Платонов А. Детские годы Багрова-внука // Платонов А.П. Собр. соч.: В 3 т. Т. 2. М., 1985.
2. Корниенко Н.В. В художественной мастерской А. Платонова // “Страна философов” Андрея Платонова: Проблемы творчества. М., 1995. С. 330.
3. Паустовский К. Книга скитаний. Кишинев, 1978. С. 406.



Живая вода “Тихого Дона”

О стилистико-речевой структуре романа

© А.Т. ГУЛАК,
доктор филологических наук

Сложна, многопланова, экспрессивно многообразна стилистико-речевая структура шолоховского романа. Повествовательный стиль “Тихого Дона” широко вбирает в себя речевые средства, передающие точки зрения персонажей, отражающие особенности быта казачьей среды.

Изображение действительности в романе осуществляется с точки зрения всеведущего автора, того или иного персонажа, стороннего наблюдателя, находящегося как бы за спиной героя, в тех же условиях. Смена и чередование различных точек зрения, организуя отдельные фрагменты повествования, во многих местах романа очень часты, что придает тексту напряженный, эмоциональный характер.

Проанализируем один фрагмент, в котором повествование как бы скользит по разным субъектным сферам. Вначале оно сближается с восприятием Аксиньи (“Страшный удар в голову вырвал из-под ног землю...”), но тут же “отрывается” от него, приобретая “объективный” характер взгляда “со стороны” (“Она стукнулась о дверную притолоку спиной, глухо ахнула”).

Далее повествование ведется с точки зрения всезнающего автора, захватывающего отчасти сферу сознания персонажа (“Не только бабу квелую и пустомясую, а и ядерных каршеватых атаманцев умел Степан валить с ног ловким ударом в голову”), и затем автор снова принимает свойственные стороннему наблюдателю ограничения в знании (“Страх ли поднял Аксинью, или снесла бабья живучая натура, но она отлежалась, отдышалась, встала на четвереньки”). И почти сразу же авторский “объектив” переходит к Степану (“Закуривал Степан посреди хаты и прозевал, как поднялась Аксинья в дыбки. Кинул на стол кисет, а она уже дверью хлопнула. Погнался.”), а от него снова к изображению “со стороны” (“У плетня Степан настиг ее”).

Затем точка восприятия передвигается в сферу казачьей среды (“Что из того, что муж, заложив руки за спину, охаживает собственную жену сапогами?..”). Далее повествование вбирает в себя восприятие и экспрессию речи Алешки Шамиля (“Шел мимо безрукий Алешка Шамиль, поглядел, поморгал и раздвинул кустастую бороденку улыбкой: очень даже понятно, за что жалует Степан свою законную”). Это нагнетание композиционных ритмов, быстрая смена разных субъектных сфер усиливает внутреннее напряжение, драматизм изображения. Такой прием позволяет передать разнообразную гамму экспрессивных оценок и отношений к действительности самих героев.

При воспроизведении батальных сцен повествовательный поток “Тихого Дона” широко вбирает в себя элементы военно-профессиональной речи. Строгий стиль официально-военных реляций используется в романе для обрисовки общей военной обстановки: “На Юго-Западном фронте в районе Шевеля командование армией решило грандиозной кавалерийской атакой прорвать фронт противника и кинуть в тыл ему большой кавалерийский отряд, которому надлежало совершить рейд вдоль фронта, разрушая по пути коммуникационные линии, дезорганизуя части противника внезапными налетами”.

Как только Шолохов переходит к изображению конкретной батальной картины, повествовательный стиль приобретает двуплановый характер: то сближается с восприятием какого-либо персонажа, то снова перемещается в сферу авторского изложения. Иногда повествование движется как бы на грани этих двух восприятий – автора и персонажа. Так, только начало кавалерийской атаки русских войск в районе Шевеля рисуется с точки зрения сотника Евгения Листницкого: “Была подана команда к атаке, полки пошли. Многие тысячи конских копыт стлали глухой, напоминающий подземный, гул. Листницкий, удерживая своего кровного коня, не давал ему срываться на галоп. Расстояние версты в полторы легло позади ... На четвертой версте лошади стали спотыкаться, заметно потеть, – противника все не было. Листницкий оглянулся на сотенного командира: на лице есаула – глухое отчаяние... Шесть верст немислимо трудной скачки вырвали из лошадей силы, не-

которые под всадниками падали, самые выносливые качались, добирая из последних сил. Здесь-то секанули австрийские пулеметы, размеренно захкакали залпы... Убийственный огонь выкосил передние ряды. Первыми дрогнули и повернули обратно уланы, смялся казачий полк...”.

Такое же неакцентированное включение авторской оценки происходит и при создании портретных характеристик. Например, портрет Бунчука дан, казалось бы, глазами Листницкого, однако введение развернутого сравнения выдает авторское отношение к герою: “Сотник еще раз оглядел невысокую плотную фигуру Бунчука. Напоминал тот обдонское дерево караич: ничего особенного, бросающегося в глаза в нем не было, – все было обычно, лишь твердо загнутые челюсти да глаза, ломающие встречный взгляд, выделяли его из гущи остальных лиц. Улыбался он редко, излучинами губ, глаза от улыбки не смягчели, непристудно сохраняли неяркий свой блеск. И весь он был скуп на краски, холодно-сдержан, – караич, железной твердости дерево, выросшее на серой супеси неприветливой обдонской земли”.

В каждой последующей книге “Тихого Дона” углубляется психологический анализ индивидуальных образов, усложняются стилистические приемы. Более глубокой становится дифференциация художественных средств, более разнообразным их взаимодействие. Так, в первой книге Шолохов не дает развернутого анализа мыслей и переживаний героев. Вот как изображает он состояние Степана Астахова, узнавшего, что его жена Аксинья “спуталась” с Григорием Мелеховым: “Степан, бледнея, рвал с груди пивок, давил их ногою. Последнюю раздавил, застегнул воротник рубахи и, словно испугавшись чего-то, снова расстегнул. Белые губы не находили покоя: подрагивая, расплзались в нелепую улыбку, ежились, собираясь в синеватый комок”. Внутреннее состояние раскрывается здесь через воспроизведение внешних выразительных движений. Изображение переживаний героя полно драматизма, динамики. Ведущую стилистическую роль играют здесь глаголы. Вначале используются формы прошедшего времени несовершенного вида, они способствуют передаче беспорядочности, какого-то “автоматизма” действий (бледнея, рвал, давил). Затем следуют глаголы совершенного вида (раздавил, застегнул, испугавшись, расстегнул), передающие смену лихорадочных действий. И в заключительной части снова используются формы прошедшего времени несовершенного вида (не находили, подрагивая, расплзались, ежились, собираясь), подчеркивающие длительность и мучительность эмоционального состояния Степана.

Здесь проявилась и еще одна особенность шолоховского стиля: выделение крупным планом какой-либо отдельной черты лица (губ, глаз, рта, лба), детальное описание ее экспрессивных изменений.

Уже в третьей части первой книги для более полного изображения индивидуальной душевной жизни Шолохов использует формы несоб-

ственно-прямой речи, в которых воплощаются фрагменты внутренней речи героя, отражающие состояние взволнованной психики.

Несобственно-прямая речь в “Тихом Доне” выступает в границах авторского повествования как в скрытой (медитативной, по терминологии Н.С. Пospelова), так и в открытой, экспрессивной форме.

Вот как, например, изображается Аксинья в момент встречи с Натальей, которая пришла упросить ее вернуть Григория: “Она [Аксинья] глумилась, вглядываясь в лицо врага. Вот она – законная брошенная жена – стоит перед ней приниженная, раздавленная горем; вот та, по милости которой исходила Аксинья слезами, расставаясь с Григорием, несла в сердце кровавую боль, и в то время, когда она, Аксинья, томилась в смертной тоске, вот эта ласкала Григория и, наверное, смеялась над ней, неудачливой, оставленной любовницей”. Средствами, включающими несобственно-прямую речь и поддерживающими ее, являются здесь указательная повторяющаяся частица *вот*, фиксирующая (с указательными местоимениями) последовательность психологических жестов героини; вводное слово *наверное*, указывающее на ограниченность знания, предположение персонажа.

А так передается внутреннее состояние Григория после того как он узнал об измене Аксиньи: “На крыльце Григорий достал со дна солдатского подсумка бережно завернутый в клейменную чистую рубаху расписной платок... Жалкий подарок! Григорию ли соперничать в подарках с сыном богатеишего в верховьях Дона помещика? Поборов подступившее сухое рыдание, Григорий разорвал платок на мелкие части, сунул под крыльцо”. Несобственно-прямая речь выделяется здесь экспрессией восклицательного и вопросительного (риторического) предложений, в форму которых облекаются размышления героя.

С каждой последующей книгой “Тихого Дона” все раскованнее и шире вводится в повествование несобственно-прямая речь. В четвертой книге она выступает как форма развернутого внутреннего монолога, отражая стремительное и хаотическое движение индивидуального сознания во всем многообразии экспрессивно-модального выражения. Вот, например, вихревое кружение мыслей Пантелея Прокофьевича во время приезда в станицу командующего Донской армией генерала Сидорина со свитой: “Старик смотрел на приближающихся гостей, не мигая, и во взгляде его все больше отражалось нескрываемое изумление. Где же висащие генеральские эполеты? Где аксельбанты и ордена? И что же это за генералы, если по виду их ничем нельзя отличить от обыкновенных солдатских писарей? Пантелей Прокофьевич был мгновенно и горько разочарован. Ему стало даже как-то обидно и за свое торжественное приготовление к встрече, и за этих позорящих генеральское звание генералов. Черт возьми, если б он знал, что явятся эти-кие-то генералы, то он и не одевался бы столь тщательно, и не ждал бы с таким трепетом <...> А всему виной этот проклятый атаманишка!

Пришел, набрехал, взял кобылу и тарантас, по всему хутору бегал, высунавши язык, громашки и колокольцы для троек искал. Воистину: хо-рошего не видал человек, так и ветошке рад. За свою бытность Пантелей Порокофьевич не таких генералов видывал! Взять хотя бы на императорском смотре: иной идет – вся грудь в крестах, в медалях, в золотом шитве; глядеть, и то душа радуется: икона, а не генерал! А эти – все в зеленом, как сизоворонки. На одном даже не фуражка, как полагается по всей форме, а какой-то котелок под кисеей, и морда вся выбрита наголо, ни одной волосинки не найдешь, хоть с фонарем ищи...”.

В этом внутреннем монологе несобственно-прямая речь максимально приближена к прямой речи персонажа. Яркие характерологические элементы проникают в повествование, поддерживая экспрессивное своеобразие индивидуально-языкового сознания. Несобственно-прямая речь выделяется также смещением модально-временного плана: изменением наклонов, употреблением форм настоящего времени со значением раскрытого настоящего, формы настоящего-будущего времени (*явятся*), форм прошедшего времени совершенного вида в перфектном значении (*пришел, набрехал, взял*), форм прошедшего времени несовершенного вида, которыми “прошлое воспроизводится как реальный факт или процесс действительности” (*бегал, искал*). Размышления персонажа облекаются в форму многочисленных вопросов и восклицаний, отражающих движение его внутренней речи. Автор-повествователь, как бы погружаясь в индивидуальное сознание старика Мелехова, средствами авторской и устно-разговорной, идущей от персонажа, речи создает прерывисто-динамичный план внутреннего речевого мышления.

Стремясь описать внутреннее состояние персонажа во всей его комплексной полноте и противоречивой сложности, Шолохов в некоторых местах по-толстовски развертывает фразу в длинный период.

В комплекс экспрессивных форм, определяющих характер построения образов главных героев в “Тихом Доне”, входит стилистический прием бокового метафорического освещения. Так, изображая состояние Аксиньи после встречи с Григорием, которой предшествовала долгая разлука, Шолохов привлекает символическую параллель: образ снежного наноса, нависшего над обрывом и срывающегося вниз под порывом ветра. Образу-символу придано яркое моторно-экспрессивное выражение: “Будет она [снежная громадина], грозная безмолвием, висеть до поры, пока не подточит из-под поду оттепель или, обремененную собственной тяжестью, не толкнет порыв бокового ветра. И тогда, влекомая вниз, с глухим и мягким гулом низринется она, сокрушая на своем пути мелкорослые кусты терновника, ломая застенчиво жмушщиеся по склону деревца боярышника, стремительно влача за собой кипящий, вздымающий к небу серебряный подол снежной пыли”.

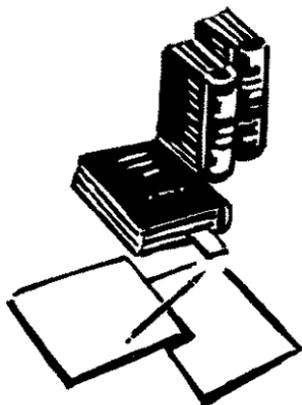
Сразу же этот образ сцепляется с другим, казалось бы, семантически далеким, но внутренне связанным с ним образом ходящей по кругу

слепой лошади, вращающей вокруг оси поливальное колесо. Эти экспрессивные образы-символы по-разному раскрывают губительную, слепую, безоглядную любовь Аксиньи к Григорию. Символический образ снежного обвала, все сокрушающего на своем пути, находит композиционное развитие и в главах, связанных с гибелью Натальи. Такую же функцию метафорической характеристики сложной и трудной судьбы Григория, его метаний и скитаний, выполняет образ перекасти-поля, гонимого свежим ветерком “по осиянной солнцем, восставшей к жизни степи”.

Сложны, многообразны, индивидуально-неповторимы стилистико-речевые формы воплощения художественно-образного содержания в романе “Тихий Дон”. Черпая “живую воду” из источника народного языка, используя разветвленную систему стилистических приемов, богатейшую палитру экспрессивно-языковых красок, М. Шолохов добивается необыкновенной глубины и достоверности в воссоздании различных сфер жизни донского казачества.

Харьков





Наука о языке и общество

© А. Б. БУШЕВ,
кандидат филологических наук

Всем памятны публикации отечественных писателей и лингвистов, где с большой любовью говорится о русском языке и о том, как важно им по-настоящему владеть, т.е. правильно писать и говорить, что в небрежении к слову культивируется небрежность мысли. В этой связи могут быть названы такие книги, как “Живой, как жизнь” К.И. Чуковского, “Слово живое и мертвое” Норы Галь, “Правильно ли мы говорим?” Б.Н. Тимофеева-Еропкина, а также труды и просветительская деятельность Д.Э. Розенталя, Л.В. Успенского, С.И. Ожегова, В.В. Виноградова, Л.В. Скворцова, выступавших с доступными, но не упрощенными работами для самой широкой аудитории. Во многих научно-популярных изданиях язык рассматривается в тесной связи с мыслью, развивающейся в языке.

В 60-е годы XX века основную опасность для языка лингвисты усматривали в наступлении канцелярита. Этот термин был предложен К.И. Чуковским, ему же принадлежат тонкие наблюдения и язвительные описания данного явления. На борьбу с канцеляритом и были направлены основные усилия лингвистов, популяризаторские работы. Мы и сегодня еще часто являемся свидетелями того, как в подготовленное устное выступление или даже в разговорную речь включаются элементы всепроникающего канцелярита: *чулочно-носочные изделия, остроим вопрос, фактор времени, по какому вопросу, ввиду отсутствия, принять меры, обеспечить выполнение программы, согласно*

плана (!) мероприятий, спустить указания, зеленый массив, проезжая часть.

Однако прошло время, и сменились приоритеты. Основные усилия сегодня направлены на выявление чудовищной засоренности речи варваризмами и вульгаризмами. Справедливости ради отметим, что такая же проблема существует сегодня во многих языках старой Европы как социолингвистическое последствие глобализации.

Хрестоматийны старания Павла I, А.С. Шишкова и других пуристов очистить язык от иностранщины. Попытки прямо воздействовать на язык, как правило, обречены на неудачу. Однако это вовсе не означает отказа от пропаганды языковых норм и борьбы за чистоту слога, которую А.А. Волков понимает как “однородность речи в отношении к общим и частным нормам литературного языка” [1]. Засоренность слога, по мнению того же автора, есть “результат механического смешения в речи различных функциональных, исторических, авторских стилей, включения в речь нелитературных оборотов”: “Мы часто думали о тех процессах, которые протекают с точки зрения самостоятельности республик; вопрос межнациональных отношений самый тонкий, ранимый такой”. Иногда смешение разностилевых элементов вкупе со стилистическими ошибками (ошибки сочетаемости) создает комический эффект, как в приведенной цитате. А ведь каждый без труда вспомнит, что такие речи нередки.

Актуален совет избегать нагромождения ненужных иностранных слов, варваризмов, калькирования иноязычных слов, словосочетаний и оборотов речи, сниженной лексики. Вульгаризация речи – широкое проникновение лексики деклассированных элементов – нищих, бродяг, проституток, преступников – во все слои общества: *забивать бабки, шопник, начальничек, защитничек, гад, злыдень, зуботычка, канать, шухер, атас, бардак, беспредел, блаат, бодяга, бочку катить, буза, вешиять лапшу, стучать, жлоб, за бугор, засыпаться, жить на игле, играть на руку, клево, кодла, шарашкина контора, отбросить коньки, крыть нечем, ксива, до лампочки, липа, олух, лох, наводить марафет, мент, мвсор, ништяк, братва, ноги делать, очки втереть, под колпаком, права качать, брат на пушку, расколоться, бить сачка, свой в доску, стоять на стреме, тусоваться, туфта, тырить, финт ушами, чмо, шалашовка, шалман, шмон* и т.п. Приглядимся к этим словам. Многие из них часто встречаются в прессе, становятся заголовками фильмов. Они воспринимаются как естественные в речи современных носителей языка, не оскорбляют речевое достоинство говорящего и слушающего. Кроме того служат сигналом: “Я – свой”, “Я – продвинутый”, “Что мне до мешанских предрассудков!”.

В речи бытового и делового обихода употребляются слова из молодежного сленга, профессионального просторечья, заимствования из английского языка (*промоушен, мерчандайзинг, фандрайзинг, мар-*

кетинг, брендинг, менеджер вместо продавца). Велико количество компьютерных жаргонизмов: *киборда, клавиша, ангрейд, бродилка, бросить на свой адрес, винды, винт, виснуть, железо, кликнуть, мама, пентюх, печаталка, стрелялка, форточки, хакер, юзер*. Ощущается и проникновение “блатной музыки”, культуры: *кимарить, клево, туфта...*

Во многих лингвистических исследованиях выстраивается (на основании анализа значительного числа нередко взаимопротиворечащих трудов) четкая система взаимоотношений лексики литературного языка, разговорной речи, субстандарта, где жаргоны, по меткому замечанию В.М. Жирмунского, паразитируют на литературном языке. Описываются и особенности такого “паразитизма” аргю в речи (криптолалия, экспрессивность и т.д.) [2]. Процесс лексической метафоризации в движении от низших слоев лексической иерархии общенационального языка (арго, кент, жаргон и т.д.) к литературному стандарту и наоборот объясняется эмотивностью, лаконичностью и яркой экспрессивностью арготизмов. Приятно и значимо, что, например, современным исследователем М.А. Глуховой учитываются труды, сами ставшие историей науки о языке: первая научная работа Д.С. Лихачева об аргю, написанная им на основании общения в ссылке на Беломорканале, ранние социолингвистические труды В.М. Жирмунского, дореволюционные русские словари аргю. Отмечается многими авторами и криптолалическая функция арготизма в связи с метафорической функцией аргю. Лаконичность формы знакома исследователям и как признак других специфических пластов речи (например, страноведческих реалий) и является, очевидно, языковой универсалией. Импонирует идея о метафорическом характере аргю. Однако дальше описания языковых феноменов дело не идет, в языковой практике рекомендации не применяются, научное знание остается невостребованным.

Выстраиваются любопытные схемы, показывающие взаимообмен компонентов языка – тем более, что сегодня “бытование арготизмов в литературном языке” (и их засилье) обсуждается с парламентской трибуны и представляется серьезной социолингвистической проблемой.

Однако проблему можно ставить и шире – в глаза бросаются не только словарные ошибки, но и незнание основ риторики, неумение выражать свои мысли [3]. Незнание основных закономерностей речи затрудняет ее производство и понимание. А ведь это давно поняли, например, в Америке, где речевой культуре общества, системе коммуникаций уделяется серьезное внимание; в Японии, где существует теория языкового существования народа.

Язык выполняет разные коммуникативные задачи, и, понятно, различается в своих ипостасях. Здесь уместно сослаться на получившую широкое признание предложенную акад. Д.Н. Шмелевым типологию функциональных разновидностей языка: 1) разговорная речь; 2) язык

художественной литературы; 3) функциональные стили: официально-деловой, научный и публицистический. Одно дело – язык науки и совсем другое – обыденная разговорная речь [4]. Последняя – несомненно, одна из наиболее сложных способностей, подлежащих освоению языковой личностью. Она особенно актуальна при установке на работу в условиях устной коммуникации, неформальное общение. Языковедческая наука с 50-х годов занимается разговорностью. Тогда рамки разговорности были точно определены, она не проникала в те сферы, где предстает неуместной развязностью.

Как форма существования литературного языка разговорная речь характеризуется основными его признаками (наддиалектностью, устойчивостью, нормативностью, многофункциональностью). Изучалось взаимодействие ее с разговорным типом письменно-литературного языка в художественных произведениях, где речь разговорная “оли-тературируется” (В.В. Виноградов). Однако считается невозможным изучить разговорную речь по художественным текстам (хотя Лесков, Шукшин, Зошенко, Астафьев, Солженицын, Галич, Довлатов “открывают” бездны разговорности), ученые считают, что необходимы аутентичные записи. В учении о специфике разговорной речи – коллоквиалистике – русскую разговорную речь отделяют от кодифицированного литературного языка и рассматривают ее как противопоставленный ему самостоятельный феномен. Неподготовленность, линейность, непосредственный характер речевого акта – параметры, отчетливо выделяющие разговорность (коллоквиальность). Ученые исследуют, как она проявляет себя на лексическо-стилистическом и синтаксическо-стилистическом уровне.

О разговорной речи хорошо написал М.В. Панов: «Не раз в печати появлялись жалобы, что лексикографы обижают слова: ставят около них пометы “разговорное”, “просторечное” и т.д. Несправедливы эти жалобы. Такие пометы не дискриминируют слова. Посмотрим в словаре, у каких слов стоит помета “разговорное”: *ворочать (делами), ворчун, восвоися, вперейбой, впахнуть, впросонках, впрямь, впустую, временами (иногда), власть, всплакнуть, вспомянуть, встряска, сухомлятку, выволочка, газировка, гибель (много), глазастый, глядь, гм, гнильца, говорун, голубчик, гора (много), грохнутья, грошовый, грузнет, ни гу-гу, гуртом, давай (он давай кричать), давенько*. Прекрасные слова. Помета *разг.* их не порочит. Помета предупреждает: лицо, с которым вы в строго официальных отношениях, не называйте голубчиком, не предлагайте ему куда-нибудь его впахнуть, не сообщайте ему, что он долговязый и временами ворчун... В официальных бумагах не употребляйте слова *глядь, власть, восвоися, грошовый...*».

Движение за чистоту слога, против вульгаризации речи многосторонне – от науки к обществу и СМИ и из СМИ к обществу. Свою роль играет и государство. Работает совет по русскому языку при правитель-

стве РФ, осуществляется государственная поддержка инициатив по изучению и распространению языка. Вопрос лишь в том, насколько этого достаточно. Приходится слышать сетования, что из орбиты “средства межнационального общения” выпадает мир ближнего зарубежья.

Мы знаем о попытках законодателя нормировать язык и его употребление, о случаях тестирования парламентариев, о справочниках, раздаваемых им. Ощущается “встречное движение” в прессе. Многие периодические издания и радиоканалы отдельные рубрики посвящают русскому языку. Желание говорить о языке с самой широкой аудиторией демонстрирует недавно вышедшая книга М.А. Кронгауза [5]. Однако движение за то, чтобы говорить по-русски правильно, должно иметь больше сторонников.

Банально, но факт: важна не только культура речи, но и шире – культура мысли. Отсюда ясной становится важность риторики – интегральной области, охватывающей проблематику эффективности речи.

Литература

1. Волков А.А. Курс русской риторики. Москва, 2001. С. 284.
2. Глухова М.А. Метафоризация в аргументации. Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. Тверь, 2003.
3. Культура русской речи и эффективность общения. Под ред. Граудиной Л.К. и Ширяева Е.Н. М., 1998.
4. Шмелев Д.Н. Русский язык в его функциональных разновидностях. М., 1977.
5. Кронгауз М.А. Русский язык на грани нервного срыва. М., 2008.



О развитии словарного состава русского языка

© Г. М. ШИПИЦЫНА,
доктор филологических наук

Исследуя обновление словарного состава русского языка на современном этапе, ученые отмечают “лавинообразное словообразование, неконтролируемый поток заимствований, вторжение жаргона в общий язык, новую жизнь слов, обозначающих наиболее актуальные понятия нашего времени, уход в пассив целых пластов лексики эпохи социализма” [1]. Наиболее заметным является процесс неологизации словарного состава. Специалисты говорят о ежегодном приросте новых лексико-семантических единиц, исчисляемом тысячами, в будущем прогнозируется дальнейшее увеличение числа новых слов и значений. При этом процесс неологизации развивается в паре с противоположным явлением – архаизацией в лексике русского языка.

Такое движение можно, например, наблюдать в лексико-семантической группе со значением *бедный* и *богатый*, поскольку представления носителей языка в последние века об этом признаке человека неоднократно и существенно менялись, и потому семантическое наполнение этих слов, а также их место относительно ядра, центра и периферии этой структуры не могли остаться неизменными, что и подтверждает языковой материал.

В начале XIX века в рассматриваемой группе было 69 единиц, которые функционировали в литературном языке и диалектах настолько заметно, что были зафиксированы словарями, отражающими лексику этого периода (некоторые из слов не в основных своих значениях): *нищий, бедящиной, голый, скудный, скудостный, убогий, небогий, сирый, бездомный, бездомовный, бездомовый, бескровный, беспритульный,*

бесприютный, беспричальный, беспритинный, беспристанищный, беспорточный, безодежный, колоногий, голоколенный, голодырый, голоножий, голодомный, голоспинный, голоштаный, голодряный, бедный, захудалый, неимуций, нужной, нужливый, нужий, бессемянный, бессеменный, безлошадный, бесконный, безденежный, бесприданая, беспоместный, маломощный, маломочный, маломожный, малопоместный, малоимуций, маловотчинный, мелкий, недостаточный, небогатый, мелкопоместный, несостоятельный, малосостоятельный, безбедный, богатый, справный, достаточный, достатный, зажиточный, заживной, зажитный, состоятельный, имуций, иметельный, имовитый, богатолюбивый, богатодарный, замочный, денежный, сытый.

Ядерными лексемами здесь являются слова *бедный* и *богатый*, поскольку они выражают общее для всех слов этой группы значение (лингвисты называют его интегральным и концептуальным), с их помощью истолковывается в словарях семантика остальных слов анализируемого блока.

Двадцать пять слов этой группы утрачено языком в результате действия различных процессов, назовем главные из них.

1) Язык освобождается от структурных вариантов одного и того же слова, происходит своеобразная систематизация лексики. Типичный пример: вместо четырех слов *имуций, иметельный, имовитый, имовитый* остается одно – *имуций*, но и оно позднее архаизируется, хотя произведенное от него *неимуций* сохраняется в составе активного лексического фонда.

2) Устраняются семантические дублеты, например, утратилась большая группа слов с корнем *гол(ый)*, обозначающих бедного человека: *голоножий, голоколенный, голоспинный, голозадый, голодомный, голодырый* и многие другие, которые в литературном языке неупотребимы. Возможно, какие-то из них еще и живы в диалектах, однако толковые словари второй половины XX века у слова *голый* значение “бедный” вообще не отмечают, хотя и фиксируют отдельные его производные, такие, как *голытьба, голь, голыш* и *голытепа* с пометой *устар.* Деривационная активность слова *голый* в производстве слов со значением “крайне бедный” угасла в пределах всего национального языка. Тем не менее *голый* в значении “бедный, неимуций” сохраняется в генетической памяти народа и в разговорно-жаргонной речи может использоваться для производства новых слов, например: “Как у тебя с бабками? – *Голяк*” [2]. Или слово *голошмяк* (*ирон.*) – “человек, не имеющий определенного места жительства, бездомный, бомж” [Там же].

Родственные гнезда ядерных лексем ЛСГ *бедный* и *богатый* в целом обеднели, утратив такие слова, как *бедныш, бедяш, бедяга* и *богатина, богатич, богатитель* и *богатительница, богатка, богатница, богатинка.*

3) Архаизируются сложные слова с громоздкой, неуклюжей звуковой оболочкой, труднопроизносимые: *богатолюбивый, богатодарный.*

4) Утратилась большая группа слов (*нужий, нужливый, нужный, нужной* и другие, им родственные, в значении “испытывающий нужду”), мотивировавшихся старым русским словом *нужа*, которое было вытеснено более звучным старославянизмом *нужда*. В результате этого производные от *нужа* лишились своей “внутренней формы” (термин А.А. Потебни), т.е. признака, мотивирующего их звучание и значение (пережили опрощение своей структуры). В литературном языке их всех заменило одно слово – *нуждающийся*. В отдельных говорах регистрируется *нужной* в значении “неимуший, бедный” (Словарь русских говоров Среднего Урала).

5) Вышли из употребления слова, “внутренняя форма” которых недостаточно ясная. Их использовал В.И. Даль для толкования слов со значением “бедный”: *колоногий* (очевидно, босой, ноги колет ему) и для толкования слов со значением “богатый”: *замóчный* (очевидно, тот, кто имеет замок для сохранения своего богатства, то есть редкостный предмет для быта простых людей начала XIX века).

В диалектах бывшее изобилие слов с ядерными смыслами “бедный” и “богатый”, при множестве их звуковых и морфемных вариантов, не сохранилось также. Только несколько слов этого разряда фиксируется словарями региональной лексики: *беспритульный, голодряпный, заживной, заживильный*. Слова *бедяиный* в диалектных словарях нет, но есть глагол *бедяишь* – “ходить по миру”, то есть попрошайничать, нищенствовать (Словарь русских народных говоров).

В целом в послереволюционный период XX века анализируемая ЛСГ развивалась по пути сокращения численности своих единиц и прежде всего за счет устранения структурных и семантических дублетов на фоне дифференциации значений и приобретения четкой стилистической окраски сохраняющихся слов. Эти процессы для развития языка безусловно прогрессивны: «Язык может располагать огромным словарем, но если этот словарь “не обработан”, если дифференциация между близкими по значению словами либо мало осознается говорящими, либо не существует вовсе, (...) то лексика подобного языка, богатая в количественном отношении, оказывается бедной функционально, недостаточно точной в процессе общения людей» [3. С. 35].

Большая часть сохранившихся слов (даже при сходстве словарных дефиниций в исторических и современных словарях) претерпела глубокие внутренние изменения в характере своего значения, обусловленные различным наполнением их семантики.

Новых слов с новыми звуковыми оболочками, особенно для подгруппы “бедный”, литературный язык почти не приобрел. Другие же сферы национального языка пополнялись образными наименованиями анализируемой семантики, что вполне понятно: такая особенность человека, как его материальный достаток, не оставляет “равнодушными”

его окружающих, что соответствует нашей отечественной ментальности. Приведем примеры.

В полном соответствии с господствующей идеологией советского периода (осуждением желания людей стать обеспеченными, презрением к комфорту, сытости и тому подобным проявлениям “буржуазного” и потому враждебного для советского народа образа жизни) использовались в языке с отрицательной коннотацией слова, в прошлом обозначавшие титулованных особ и представителей эксплуататорских слоев общества. Например, в сравнительных конструкциях с элементом *живет, как: живет, как пан, как помещик, как царь, как король* и т.п. Аналогичная оценка ощущается в подобных словах, использовавшихся как оскорбления в адрес лиц, по мнению говорящего, недостаточно следующих принципам советского образа жизни, ценностным ориентиром которого являлось презрение к благополучию: *кулак, помещик, буржуй, барин, барон, князь, господин, банкир, купец, капиталист* и т.п. От слова *буржуй* (в толковых словарях советского периода оно дается со стилистической пометой *презрит.*) образовалось интересное слово *буржуйка* в значении “железная печка-временка” (видимо, в тепле такой печки во времена послереволюционной разрухи люди ощущали себя почти буржуями).

В наши дни тема бедности-богатства актуализировалась. Для выражения смысла “богатый человек” вышеназванные средства советского периода (названия представителей эксплуататорских классов) не используются. Более того, они почти утратили отрицательную оценочность и, по крайней мере, в речи большей части россиян употребляются стилистически нейтрально.

Например, слово *купец* “пытается” вернуться в прежнем своем статусе, оно используется в названии фирм: *Фирма “Российские купцы”*. Слово *банкир* функционирует без всякой оценочности в значении “владелец банка, управляющий банком, член правления банка”. Слова *господин, госпожа* и *господа* фактически уже вошли в современный российский этикет в качестве форм вежливого общения, особенно в официальной сфере. Дворянские титулы *граф, князь, барон*, а также слова *капиталист* и *бизнесмен* используются по назначению. Например: *“Гермес” – школа капиталиста*.

Как пишет Р.А. Будагов, по широко распространенному мнению, развитие и прогресс в лексике связаны прежде всего с увеличением числа слов. В старых литературных языках, конечно же, было меньше слов, чем в современных языках. Такое предположение является верным применительно к словарю языка в целом, что же касается его отдельных участков, то эта закономерность реализуется в них противоречиво и непоследовательно [3. С. 12].

Сравнивая лексиконы нынешнего и минувших двух веков, можно наблюдать, с одной стороны, бесконечное пополнение терминологиче-

ских систем научной, политической, религиозной и деловой сфер общественной деятельности носителей языка, а с другой стороны, – относительное затишье и даже утрату слов на других участках словаря, напрямую не связанных с научным и техническим прогрессом или политико-экономическими коллизиями, переживаемыми обществом носителей языка. Этим обеспечивается относительная целостность лексико-семантической системы языка, сохраняется ее устойчивость во времени и пространстве, что, впрочем, не исключает тенденции к постепенному ее обновлению.

Литература

1. Толковый словарь русского языка конца XX века. Языковые изменения. Под ред. Г.Н. Скляревской. СПб., 1998. С. 5.
2. *Никитина Т.Г.* Молодежный сленг. Толковый словарь. М., 2004.
3. *Будагов Р.А.* Что такое развитие и совершенствование языка? М., 1977.

Белгород

Как склоняется Северянин?

© Н. А. ЕСТЬКОВА,
кандидат филологических наук

Русские мужские фамилии, кончающиеся на *-ов* или *-ин* (*Иванов*, *Грушин*) имеют особое склонение. Эти имена собственные склоняются не так, как нарицательные существительные, и не так, как притяжательные прилагательные на *-ов* и *-ин*. Сравните формы творительного и предложного падежей:

отцов	Иванов	остров
отцовым	Ивановым	островом
об отцовом	об Иванове	об острове
мамин	Грушин	ужин
маминым	Грушиным	ужином
о мамином	о Грушине	об ужине

Это особое склонение с точки зрения морфологии объясняется наличием “фамилиеобразующих” компонентов *-ов-* и *-ин-*.

Этими же компонентами определяется то, что соответствующие женские фамилии имеют окончание *-а*; склоняются же они так же, как притяжательные прилагательные: *Иванова* – как *отцова*, *Грушина* – как *мамина*.

Склонение прочих мужских фамилий, считающихся не русскими и, ничем не отличается от склонения нарицательных существительных, а соответствующие женские фамилии не склоняются (с *Александром Ивановичем Герценом*, у *Наталии Александровны Герцен*)

Известно, что существуют фамилии на *-ов* и *-ин*, принадлежащие нерусским носителям: *Вирхов*, *Гуцков*, *Флотов*, *Гершвин*, *Кронин*, *Чаплин*. Творительный падеж этих фамилий: *Вирховом*, *Гуцковым*, *Флотовом*, *Гершвином*, *Кронином*, *Чаплином*. С точки зрения морфологии здесь важно обратить внимание не на национальную принадлежность носителей фамилий, а на отсутствие в составе этих фамилий вычленимого компонента *-ин-*. Невычленимостью этого компонента определяется и несклоняемость женских фамилий: у *Анны Вирхов*, с *Ханной Чаплин*. (Есть и русская фамилия Чаплин с вычленимым *-ин-*: с *Николаем Ивановичем Чаплиным*, с *Верой Чаплиной*.)

Обо всем этом сообщается в справочниках, адресованных работникам печати. Тем не менее печатные тексты не застрахованы от ошибок. В книге Л.П. Калакуцкой “Склонение фамилий и личных

имен в русском литературном языке” (М., 1984) приводятся примеры обращения с нерусскими фамилиями на *-ов* и *-ин* как с русскими (например, *Вирховым*, *Гершвиным* и даже *Чаплинным*).

А вот фамилия-псевдоним *Северянин* до сих пор не привлекала внимания составителей справочных пособий. Как должен быть образован творительный падеж – *Северяниным* или *Северянином*? Это зависит от того, вычленим ли мы в этой фамилии-псевдониме компонент *-ин-*. Поскольку в качестве псевдонима взято “готовое” слово *северянин*, нет оснований вычленять в нем “фамилиеобразующий” компонент, из чего следует, что творительный падеж должен быть образован с окончанием *-ом*: *Северянином*.

Есть только один нормативный источник, дающий такую рекомендацию – 4-е издание “Грамматического словаря русского языка” А.А. Зализняка (2003), дополненное приложением “Имена собственные”. Здесь дается: *Северя́нин* мо 1а: Игорь Северянин. Индекс расшифровывается: существительное мужского рода одушевленное с парадигмой типа 1а.

Я располагаю немногими примерами, в которых представлено написание с окончанием *-ым*: “Но уже в январе 1914 года отношения между *Северяниным* и Маяковским были прерваны” (В.В. Маяковский. Собр. соч. в 13 т., Т. 13. М., 1961. С. 420); “В случае с Игорем *Северяниным* речь идет о действительно простом вопросе...” (Игорь Северянин. Кубок. М., 1990. С. 6. Предисловие). А материал, полученный из Интернета (12. 09. 2008, поисковая система Google), дает значительный перевес таких написаний: *Северяниным* – 1060, *Северянином* – 415.

Приведу совсем свежий пример написания с *-ым* другой аналогичной фамилии: «...“Стихи, пародии, эпиграммы”, сочиненные И. *Южаниным*» (Лит. газета. 2008. № 36).

Правильные с грамматической точки зрения написания *Северянином*, *Южанином* должны найти отражение в справочных пособиях.

Благодарю С.А. Крылова, обратившего мое внимание на “казус” с фамилией *Северянин* и сообщившего данные из Интернета.

Новая жизнь старых слов: *Семибоярщина*

© Е. А. НАХИМОВА,
кандидат филологических наук

Слово *Семибоярщина* появилось в русском языке в начале XVII века как обозначение своего рода “коллективного царя” – правительства, состоящего из семи бояр. Оно было создано в 1610 году и просуществовало до 1612 года, запятнав себя избранием на российский престол польского королевича Владислава и приглашением в Москву польского гарнизона. Именно тогда политический, экономический и династический кризис, получивший название “Смутное время”, достиг своей высшей точки. В народном сознании эти события воспринимаются как национальное унижение, закончившееся после изгнания иноземцев из столицы народным ополчением под руководством князя Дмитрия Пожарского и нижегородского купца Козьмы Минина.

Имя существительное *Семибоярщина* использовалась не только для номинации боярского правительства, но и могло метонимически обозначать период властвования этого правительства и даже сложившуюся в эти годы государственную систему, отличительными признаками которой были слабость правительства, социальные конфликты, гражданская война и экономический кризис.

Почти четыре столетия слово *Семибоярщина* воспринималось как историзм, как обозначение социально-политической ситуации, которая уже никогда не сможет повториться.

К сожалению, на рубеже XX и XXI веков слово *Семибоярщина* вновь стало применяться для обозначения современных политических реалий. Такое использование нередко связано с установлением параллелей между политико-экономической ситуацией, сложившейся в России почти через четыре века после завершения первой Смуты: “Что составляет главную опасность для Путина на втором сроке? Новая силовая олигархия, скорее даже – финансовая *семибоярщина*” (Г. Павловский. Налицо попытка усилить *боярство* // Известия. 2003. 5 сент.); “Многоголовое правление – уникально для Подмосковья. Но старики его уже прозвали *семибоярщиной*” (В. Попов. В Волоколамске правит *семибоярщина* // Моск. комс. 2002. 21 янв.); «Пока ни “*семибоярщина*”, ни “диархи” не выбраны. Обе схемы не имеют хорошего институционального, юридического обрамления» (Моск. новости. 2006. 6 февр. 2006).

Как свидетельствуют данные контексты, в современных условиях преобразуется традиционная семантика лексемы *Семибоярщина*. В но-

вых контекстах это слово обозначает не боярское правление, а различные проблемы в государственном управлении. Вполне закономерно и то, что слово *семибоярщина* при его использовании для обозначения современных реалий начинается на письме со строчной, а не с заглавной буквы.

В других случаях рассматриваемое слово служит своего рода образцом, по которому создаются иные слова с похожими значениями и словообразовательной структурой. Наибольшую известность среди этих неологизмов приобрело слово *семибанкирщина*. Оно впервые появилось в прессе 14 октября 1996 года, когда журналист Андрей Фадин опубликовал статью “Семибанкирщина как новорусский вариант семибоярщины”, в которой проводились аналогии между Смутным временем и современной Россией, а также давалась характеристика роли семи ведущих банкиров в российской финансовой системе: “Они контролируют доступ к бюджетным деньгам и практически все инвестиционные возможности в стране. В их руках громадный информационный ресурс крупнейших телеканалов. Они формулируют волю президента. Те, кто не захотел идти вместе с ними, придушены или сошли с круга... Но в России никакая победа не является окончательной, если она не выглядит минимально справедливой в глазах большинства” (Общая газета. 1996. 14 окт.). Конечно, и раньше существовали обобщающие обозначения для крупнейших банкиров (“финансовая элита”, “банковские воротилы”, “наши Рокфеллеры” и др.), но журналист нашел яркое слово-ярлык, способное выразить классовую ненависть к “махинаторам и прихвизаторам” и в то же время – презрение к ним.

Удача надолго покинула некоторых финансистов, причислявшихся к *семибанкирщине*, но слово-ярлык осталось. Вот уже более десятилетия оно активно используется для обозначения не только группы банкиров, но всей финансово-политической ситуации, существовавшей в России на рубеже веков. Журналисты часто не считают нужным как-то объяснять его смысл или хотя бы брать в кавычки, которые могли бы служить свидетельством нестандартного словоупотребления: “Россия нравилась Западу в 90-х годах. Когда у нас был развал экономики, *семибанкирщина*, власть олигархических групп и их апологетов, хаос, который привел к экономическому кризису и обнищанию” (Ю. Лужков. Западу милее Россия в облике империи зла // Известия. 2006. 13 июля).

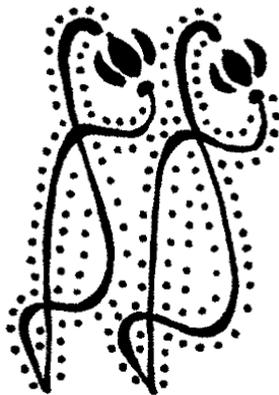
В народном сознании *семибанкирщина* давно уже стала символом стяжательства, несправедливого обогащения, эгоизма, презрения к национальным интересам страны, а соответствующее слово с самого начала его употребления имело негативную эмоциональную окраску. Очевидные параллели между разграблением страны в Смутное время начала XVII века и обнищанием значительной части населения в конце XX века усиливают прагматическое воздействие соответствующей лексики и способствуют ее семантическому развитию.

В последние годы у существительных *семибоярщина* и *семибанкирщина* обнаружился значительный деривационный потенциал. По аналогии с их словообразовательной структурой постоянно создаются окказиональные слова: *семинефтяница*, *семигенеральщина*, *семихолуйщина* и др. В этом случае при сохранении первого компонента сложного существительного вторая часть слова указывает на иную группу лиц, оказывающих чрезмерное влияние на государственное управление. Показательно, что и новые слова с начальным элементом *семи-* воспринимаются как несущие негативную эмоциональную окраску: «Фамилии должны быть говорящими. Но это очень непростое дело, когда в стране практически нет публичной политики. Когда-то у нас была *семибоярщина*, в 90-х – *семибанкирщина*, а сегодня – *семихолуйщина*» (Г. Явлинский. Мы партия протянутой руки // Коммерсант. 2007. 17 сент.); «Глава Минэкономразвития Герман Греф заявил 17 февраля 2003 года в эфире НТВ: «Знаете, раньше была *семибанкирщина* – теперь *семинефтяница*». Таким образом слово «*семибанкирщина*» можно признать устаревшим» (Коммерсант-Власть. 2003. 23 июня); «*Семибоярщина*» из губернаторов «сливала» компромат на «*семигенеральщину*» из федеральных полпредов» (Совершенно секретно. 2001. 6 июня).

Отметим, что *семинефтяница*, *семихолуйщина* или *семигенеральщина*, как и *семибанкирщина*, вовсе не обязательно должны состоять именно из семи лиц. Во всех этих случаях семантический признак «значительное влияние на государственную политику» оказывается намного более значимым, чем сема «группа, состоящая из семи лиц».

Показателен также пример, когда вместо ожидаемого обозначения *семигубернаторщина* используется слово *многогубернаторщина*: «...Людям не нравится ни *семибоярщина*, ни *семибанкирщина*, ни *многогубернаторщина*» (Известия. 2001. 10 авг.).

Итак, социальные процессы на рубеже XX и XXI веков вызвали возвращение к активному использованию в СМИ оценочного существительного *семибоярщина*, которое одновременно расширило границы своего смыслового варьирования и послужила образцом для создания неологизма *семибанкирщина* и ряда окказионализмов (*семигенеральщина*, *семинефтяница*, *семигубернаторщина* и др.). Указанные существительные позволяют провести параллели между современным состоянием нашей страны и ее социально-экономическим кризисом во время Смутного времени, ярко отражают негативное отношение к неправедно обогатившимся или получившим чрезмерную власть, а также политическим условиям, которые способствовали этим негативным явлениям.



Джакузи или спа?

© Н. Л. ДРОБЫШЕВА

Всем знакомы слова *джакузи* и *спа*. Из профессионального языка они легко проникли в общеупотребительный и стали одной из характеристик современной благополучной жизни.

Что означает слово *джакузи*? По происхождению это наименование компании, занимающейся производством гидромассажных ванн. Основателями компании и изобретателями первой гидромассажной ванны были братья Джакузи. Конструкция ванны поначалу была довольно примитивной. Популярный эффект пузырьков создавался насосом, погруженным непосредственно в ванну. Благодаря признанному лечебно-оздоровительному действию этой процедуры ванны “Джакузи” стали продаваться не только в салонах сантехнического оборудования, но и в аптеках и в медицинских магазинах. Очередной прорыв относится к 1968 году, когда компания “Джакузи” представила более комфортную ванну нового поколения.

В русском языке слово *джакузи* появилось в 90-е годы прошлого века как наименование фирмы и номенклатурное обозначение товаров данной компании (ванна Джакузи), затем стало использоваться как обобщенное наименование гидромассажных ванн и как профессионализм в языке специалистов, уже оттуда распространилось и начало употребляться повсеместно. Терминологическим эквивалентом этого слова является *гидромассажная ванна*. Номенклатурный показатель – *джакузи* – приобрел синтаксическую, а затем и семантическую самостоятельность. Семантическое наполнение слова изменилось: теперь под словом *джакузи* понимается не только ванна с гидромассажем, но и сама гидромассаж-

ная процедура. Таким образом, собственное имя перешло в разряд имен нарицательных. Путь трансформации имени собственного *Джакузи* в общеупотребительное слово не является исключением, а скорее одним из типичных.

Другое модное слово пришло из английского языка, когда в нашей стране стали продаваться первые мини-бассейны. Словом *спа* называются 1) гидромассажные мини-бассейны с лечебным эффектом, 2) место отдыха со специальным оборудованием для улучшения здоровья, в котором предлагаются и водные процедуры, 3) гидромассажная процедура.

Хотя написание слова недавно кодифицировано и попало в орфографический словарь, все еще встречаются его написания как кириллицей, так и латиницей, прописными и строчными буквами: спа, СПА, spa, SPA. Во-первых, это свидетельствует о еще не совсем полной усвоенности этого слова русским языком. Во-вторых, объясняется неясной этимологией слова. Существует несколько версий. Первая рассматривает *спа* как аббревиатуру от одного из латинских выражений: *Sanitas Per Aquas* (здоровье через воды), *Sanare Per Aqua* (лечить водой), *Sanus Per Aquam* (здоровье через воду), *Solus Per Aqua* (вода в себе) (Интернет-сайт). Согласно легенде, римский император Нерон повелел так называть римские бани. Другая версия, наиболее вероятная: происхождение слова восходит к названию маленького города в Бельгии – Спа, в котором находятся геотермальные источники с целебной водой. Последняя версия, скорее забавная: Петр I посетил один из бельгийских курортов, и тот ему так понравился, что Петр все время повторял: “Спасибо!”. Конца слова бельгийцы расслышать не могли и запомнили только “Спа...”. Отсюда якобы и пошло название города-курорта, передавшееся затем и мини-бассейнам.

Слово *спа* проявляет, в отличие от *джакузи*, большую активность в словообразовании, появляется множество неологизмов и окказионализмов: *спа-массаж, термоспа, спа-бассейн, спа-процедура, спа-центр, спа-бутик, спа-курорт, спа-отель, спа-салон, спа-класс, спа-программа, спа-подделка, спа-портал, спа-косметология, спа-зона* и т.д. Высокопродуктивной моделью при этом является постановка форманта *спа* в начале слова. Такой способ отражает особенности современного словообразования в русском языке и может отчасти объясняться влиянием английской модели сочетания слов. Данные лексические единицы находятся в отношениях семантического тождества с соответствующими словосочетаниями: *бассейн спа, процедура спа, салон спа* и т.д.

В устной речи слова *спа* и *джакузи* иногда смешиваются, поскольку размыты границы этих понятий. Одни и те же гидромассажные бассейны могут называться то *джакузи*, то *спа*. Синонимичность данных лексических единиц выявляется, например, в таком предложении из рекламного проспекта: “Аппарат для *SPA-гидромассажа*, позволяющий устроить настоящую *джакузи* в обычной ванне”. В приведенном примере с очевидностью проявляется еще одна особенность этих слов – мода на них, при-

водящая иногда к излишне частому употреблению и тавтологии (*джакузи спа-процедуры; СПА-процедуры гидромассажа джакузи*).

Обязательным и главным компонентом в значении *спа*, и *джакузи* является понятие *гидромассажный*, поскольку общий принцип работы этого оборудования – гидромассажные струи. Значение *гидромассажная процедура* имеется и у *спа*, и у *джакузи*. У *спа* добавляется также семантический компонент *гидротерапия*, т.е. акцент делается именно на лечебных свойствах. Другие различия – это размер и количество усовершенствований. *Джакузи* является гипонимом по отношению к слову *ванна*, *спа* – это мини-бассейн, рассчитанный на два человека и больше. Оба слова входят в состав общепотребительной лексики.

Предназначенные для релаксации, оздоровления и удовольствия *джакузи* и *спа* относятся к элитному санитарно-техническому оборудованию, доступному немногим. Это придает данным понятиям смыслы, связанные с жизненным благополучием и комфортом.

В настоящее время прослеживается тенденция к вытеснению слова *джакузи* и замене его на *спа*. Какое из этих слов останется, появится ли четкая линия размежевания между понятиями, покажет время.

О чем говорят названия продуктов питания?

© Д. А. ОСИЛЬБЕКОВА

Давайте пройдемся вдоль магазинных полок с продуктами и задумаемся на их названиях. Мы заметим, что в них могут отражаться: 1) завод или компания, где был произведен продукт: колбаса “Останкинская”, колбасы “Стародворские”; 2) место производства: пельмени “Тураковские”, кефир “Вологжанка”, печенье “Ивановское юбилейное”; 3) происхождение рецепта приготовления: майонез “Провансаль”, сыр “Костромской”, “Голландский”, “Российский”, печенье “Ленинградское”, “Брянская изюминка”, булочка “Нижегородская”; 4) ингредиенты продукта: майонез “Оливковый”, “Ряба” (содержащий яичный желток), “Сдоба с повидлом”, “Булочка с маком”; 5) внешний вид: сыр “Мраморный”, карамель “Стеклышки”, “Кристаллик”, вафли “Дамские пальчики”, печенье “Сердечко”, пельмени “Медвежье ушко”, хлеб “Плетенка”, “Рожок”; 6) размер: сосиски “Малютка”; 7) вкус: карамель “Кислинка”, печенье “Кофе”, сухари “Горчичные”, мороженое “Ванильное”, майонез “Нежный”; 8) внешний вид и вкус: печенье “Плетеночка с сахаром”.

Большинство названий направлено на то, чтобы привлечь внимание покупателя, понравиться ему. Какие для этого избираются средства? Самые разные. Название может давать информацию об удобстве приготовления (пельмени “5 минут”, “Тесто без хлопот”), о приятном, эталонном вкусе (сыр “Сливочный”, маргарин “Сливочник”). Название может льстить покупателю или качеству приготовленного продукта: маргарин “Хозяюшка”, “Чудесница”, пельмени “Умелый повар”, маргарин “Пышка”, “Пельмени из отборной свинины”, растительное масло “Мечта хозяйки”.

Главный принцип продуктовых “заманилок” – они должны вызывать ассоциации с чем-то положительным, приятным. Например, ностальгические ассоциации: мороженое “48 копеек”. Близки к ним исторические ассоциации. Так, фамилии, написанные с твердым знаком (пельмени “Ложкаревъ”, майонез компании “Махеевъ”), призваны свидетельствовать о том, что фирма была основана давно и, значит, является надежной.

Привлекают внимание покупателя названия сказок и всеми любимых литературных произведений (конфеты “Петушок – золотой гребешок”, “Красная шапочка”, “Дама с собачкой”, “Три мушкетера”), а также имена их персонажей (конфеты “Аксинья”, “Белочка-чудесница”, “Чебурага”).

Особой любовью у кондитеров пользуются уменьшительно-ласкательные наименования. Например, печенье “Деревенка”, “Сластушка”, “Карамболька”, “Колобушка”, “Юбилейка”; конфеты “Нотка”, “Гадалочка”, карамель “Солнышко”. Среди этих названий много слов, обозначающих животных: конфеты “Белочка”, “Бурундучок”, “Коровка”, “Мишутка”, “Голубка”, “Птичка”, “Пчелка”. Реже используются названия растений, например, печенье “Василек”, конфеты “Ромашка”, “Резеда”, “Дубки”.

В первую очередь детям адресованы ласковые наименования кондитерских изделий типа “Кроха”, “Малютка”, также имена собственные “Даренка”, “Аленка”, “Варенька”, “Михейка”, шутивное “Степка-распрепка”, мороженое “Аюша”.

Особое “сюсюканье” наблюдается в названиях детского питания: каша молочная (или безмолочная) “Малышка”, “Овсяная кашка”, “Лакомая кашка рисовая (кукурузная)”, “Борщик с говядиной”, “Овощной супчик с курочкой”, “Овощной супчик с рыбой”, печенье “Малышок”, “Агуша”, кукурузные палочки “Кукурузка”.

Большую роль в создании экспрессивных названий играют словообразовательные средства русского языка. Многие новообразования привлекают своей необычностью и информативной насыщенностью. Производящая основа обычно называет признак товара, который должен побудить его купить, а суффикс сигнализирует о потребителе товара. Так, у названий “Растишка” (молочные продукты для детей) и “Быстренок” (каша для детей) мотивировочный признак органично сочетается с признаком, названным суффиксом: “Растишка” – “расти” и “невзрослость”, “Быстренок” – “быстро расти” и “невзрослость”. Это сочетание создает ассоциацию с образом ребенка. Например: «“*Растишка*” от Дапоп: расти на здоровье» (Реклама на ТВ). Те же ассоциации вызывает название сока “Спеленок”, которое является предложноподлежащей формой существительного *пеленка* и одновременно окказиональным образованием от него с формантом *с-+-ок*.

В названии мороженого “Крутышка” совместились два мотивировочных признака: способ изготовления (*скручивать*, скатывать в рулон) и ассоциация с прилагательным *крутой* (мороженое для “крутых” людей): «“Крутышка”. И ты невероятно *крут*» (Реклама на ТВ).

Названия потенциальны. Их рождает сама жизнь. Например, окказионализм *быстросун* может стать реальным товарным именем полуфабриката: «За последние годы россияне научились различать, где политический “*быстросун*” на “мясных кубиках”, а где реальная продуктовая корзина» (АиФ. 2007. № 32).

Но некоторые названия могут и дезориентировать. Так, печенье “Паровозик” ничем паровозик не напоминает. Конфеты “Приключения рачков”, очевидно, должны вызвать определенные ассоциации с литературным произведением или мультфильмом, но почему-то не вызывают. Непонятна также мотивация названия плавленого сыра “Дружба”. При чем здесь вечные ценности?

Смысл некоторых названий, созданных по образцу модели с широкой семантикой, может быть неясным для покупателя. Например, значение названия “Аппетитница” трудно определить вне контекста. Так можно назвать, например, предмет, вызывающий аппетит, или женщину с хорошим аппетитом.

Некоторые наименования вызывают нежелательные ассоциации и даже опасения, например, вафли и конфеты “Мохнатая азбука”, конфеты “Камикадзе”, “Тамбовский волк”, пиво “Полный нокаут”.

Экспрессивные названия бытуют в определенных продуктовых сферах. Это кондитерские изделия и товары для детей. Наименования рыбных и мясных продуктов и полуфабрикатов, как правило, выполняют только номинативную и информативную функцию и обычно представляют собой словосочетания: “Цыплята для жарки”, “Филе минтая”, “Крабовое мясо” и т.п.

Таким образом, названия продуктов питания могут сказать нам о многом. Они не только дифференцируют виды продуктов, но и несут определенную информацию, называя один из признаков продукта. И как мы можем убедиться, это – широкое поле для изобретательности производителя товара.

*Шуя
Ивановской обл.*

ОМОНИМЫ В КАЛАМБУРАХ

© Р. М. МАМАРАЕВ

Когда омонимия возникает в речи произвольно, то есть помимо воли говорящего, не замечающего двусмысленности предложения, это может вызвать очень серьезные последствия.

Приведем такой пример.

В 1910 году у северо-восточного побережья США произошло столкновение американской подводной лодки с плавбазой “Кастайн”. Командир лодки, находившейся на значительном расстоянии от плавбазы, приказал рулевому: «Рассечь “Кастайн” пополам!», имея в виду провести лодку под днищем судна. Однако рулевой понял приказ буквально. Перископ с треском врезался в днище “Кастайна”, проделав в нем значительную пробоину. Плавбазу пришлось отбуксировать на мелкое место (Техника молодежи. 1964. № 2).

В тех же случаях, когда к употреблению омонимов прибегают сознательно, как к одному из стилистических средств с установкой произвести комический эффект, они являются ценнейшим материалом, который с той или иной степенью мастерства используется сатириками, юмористами, остряками всех времен.

Вопросы использования омонимов как средства создания комического освещались еще дореволюционными и советскими исследователями, такими, как Н. Абрамов, М.С. Альтман, В.Н. Вакуров, И.Ф. Виноградова, Е.А. Земская, Н.Г. Михайловская, Г.Т. Полищук, А.Н. Рыньков, Е.П. Ходакова, Д.Н. Шмелев, А.А. Щербина.

Определяя каламбур как основанную на звуковом сходстве игру разнозначными словами с целью произвести комическое впечатление, мы выделяем следующие его разновидности.

Прежде всего, это игра слов, основанная на преднамеренном употреблении одним лицом двух слов-омонимов в небольшом по объему тексте, чтобы произвести комический эффект на слушателя (читателя). Пример у М.Ю. Лермонтова: “Мне объявили, что я должен прожить тут еще три дня, ибо *“оказия”* из Екатеринограда еще не пришла и, следовательно, обратно отправиться не может. Что за *оказия!* Но дурной каламбур не утешение для русского человека” (“Максим Максимыч”).

“Оказия” – “прикрытие, состоящее из полроты пехоты и пушки, с которым ходят обозы через Кабарду из Владикавказа в Екатериноград” (Разъяснение М.Ю. Лермонтова); *оказия* – непредвиденный случай. Такое употребление двух слов мы называем преднамеренным столкновением омонимов.

В каламбурах могут использоваться имена прилагательные, глаголы: “Вообще Белоус человек *компанийский*, но не *кампанейский*. Вместо того, чтобы бороться с зеленым змием... учит, как вести себя в компании” (Известия. 1966. 2 окт.). Здесь налицо игра омофонами.

То ль мне Назым,
То ль Низами
Звонил однажды:
“Изуми,
Переведи меня, возьми,
А то другие *переводят* –
Бумагу только *переводят*.”

(Крокодил. 1963. 30 сент. С. 10)

Этот же глагол был каламбурно использован еще более 150 лет тому назад: “Многие переводчики не столько *переводят* статей, сколько *переводят* бумаги” (Заноза. 1864. № 9. С. 107).

“Прораб дал слово на собрание:
– Я заверяю исполком,
Что мы приложим все старанья
Сдавать лишь на “отлично” зданья,
Мы, так сказать, не *подведем!*
К приемке здания готовы,
И убедиться все смогли:
Строители сдержали слово,
Действительно не *подвели*.
И это не пустая фраза:
Закончив все свои труды,
Они не *подвели* ... ни газа
Ни отопления, ни воды.”

(Крокодил. 1963. 10 сент. С. 4)

Часто каламбуры строятся на столкновении двух таких омонимов, один из которых словесно выражен, а другой в предложении отсутствует, причем значение отсутствующего омонима определяется словесным окружением: “Досуг в семье проводили по-разному: муж *выжимал* штангу, жена – белье” (Крокодил. 1964. 20 сент. С. 15); “Давайте обувь и посуду, а не препятствия *чинить*” (Крокодил. 1963. 20 окт. С. 4); “Лучше *заложить* старую лошадь в маленькую повозку, чем новые часы в большой ломбард” (Сатирикон. 1909. № 33. С. 3).

Иногда игра слов основана не на столкновении, а на преднамеренном совмещении двух значений в одном слове. В результате такого “двупланового осмысления” [1] слова, независимо от того, является ли оно омонимом или представляет собой полисем, предложение может быть понято двояко, что и производит соответствующий эффект на адресата речи. Здесь выделяем:

Каламбурное использование имен существительных:

“- Что ты так штормуешь, море-океан? – Я, дружок, по валу выполняю план” (Крокодил. 1965. 20 июня С. 15);

“Опасно действует на пьяницу *среда* –
 Такое существует убежденье.
 Должны заметить мы: на пьяницу всегда
 Куда опасней и вреднее, чем *среда*,
 Суббота действует и воскресенье” [2].

Каламбурное использование имен прилагательных:

“Что толст он – это не беда, Беда, что *тонок*... не всегда” (Лит. газета. 1961. 23 марта);

Каламбурное использование глаголов и их форм:

“Если б я был скульптором, я бы вас *высек*” (слова старшины из кинофильма “Я солдат, мама!”); “Ничего, *сойдет!* – отозвался эксперт о новом красителе для тканей” (Крокодил. 1964. 10 марта. С. 14).

Каламбурное использование фразеологизмов. Фразеологизм только в определенном, искусно подобранном контексте может быть понят и как свободное сочетание слов, что, конечно, влияет на содержание того предложения, в котором он находится. Двуплановость восприятия предложения с фразеологизмом не может не производить комического эффекта: “На листе была написана всякая чепуха. Например, что у меня на руках пять пальцев, а во рту тридцать два зуба. Тогда я еще больше разозлился и сказал Грушняку, что он моих зубов не считал, а я, если захочу, все *пересчитаю*” [3]. Известно, что *пересчитать зубы (ребра, кости)* означает “побить”; “Об альпинисте говорили, что он *идет в гору*” [4. С. 62]. *Идти в гору* – получать повышение по службе. «Бабушке сказали чтобы она *держала язык за зубами*. “Вставьте зубы, тогда поговорим”, – ответила бабушка» [Там же. С. 58]. *Держать язык за зубами* – молчать. “Когда абстракционисту сказали, что его картины *не лезут ни в какие ворота*, он уменьшил их размер” (Крокодил. 1963. 20 июня. С. 11). *Не лезут ни в какие ворота* – не годятся.

В последних двух примерах адресат “разлагает” фразеологизм, воспринимая его только как свободное сочетание слов. Взаимное непонимание участников общения производит комическое впечатление.

Весьма распространен прием создания комического, когда адресант употребляет омонимичное слово в одном значении, а адресат восприни-

мает его в другом. Этот прием мы называем также совмещением значений, а не столкновением омонимов.

Приведем следующие примеры:

“Уполномоченный явился раз в район,
Где намечалось отставанье с севом.
И вот в одной сельхозартели он,
Взглянув на поле, разразился гневом:
– Где сеялки, где люди? Почему
Земля пустует, пропадая даром?
И разъяснили вежливо ему:
– Вы ж видите, участок сей под *паром*.
Но прозвучал приезжего ответ:
– Я уличаю в злостном вас обмане:
Здесь ни воды, ни *пара* нет.
Поверьте мне, ведь я директор бани!

(Крокодил. 1961. 30 июня. С. 12);

“Покупатель. Я хотел бы купить книгу. Продавец. Что-нибудь *легкое*? Покупатель. Это неважно. Я на машине”; “– Разве “депо” *склоняется*? – крикнул царь. – Все *склоняется* перед вашим императорским величеством!” [5]. “Почему этот разговор вызывает улыбку у читателя? Потому что здесь умышленно сталкиваются два омонима, которые обычно никогда не мешают друг другу”, – говорит Р.А. Будагов.

Встречается и такая структура диалога, когда адресант речи, видя, что его понимают неправильно, своим разъяснением устраняет омонимию. Здесь сталкиваются омонимы, находящиеся в смежных репликах диалога:

“– Г. доктор! Помогите, у меня *рак* в горле! – То есть, вы хотите сказать, горловой *рак*? – Да нет же, черт возьми, просто *рак*! Пять минут тому назад я им подавился” (Сатирикон. 1909. № 21. С. 6).

Такие литературные формы, как пародия, эпиграмма, каламбур, анекдот и т.д., долгое время не привлекали внимания исследователей, поэтому некоторые вопросы культуры речи и стилистики оказывались совершенно неразработанными.

Осознание важности роли многозначного слова в предложении привело во второй половине прошлого века к интенсивному изучению омонимии как факта речи. Одновременно с омонимией исследуются и речевые средства комического, в том числе особенности использования многозначных слов в произведениях отдельных писателей.

Что касается каламбура, то, по словам Ж. Вандриеса, “по своему существу каламбур не есть естественное явление; это – особое искусство, требующее специального внимания, как и всякое искусство” [6], и специального изучения, – добавим мы.

Литература

1. *Ходакова Е.П.* Каламбуры у Пушкина и Вяземского // Образование новой стилистики русского языка в пушкинскую эпоху. М., 1964. С. 287.
2. *Карасев А., Ревзин С.* Пожалуйста, попробуйте... М., 1965. С. 54.
3. Смех – дело серьезное. М., 1963. С. 91.
4. Случится же такое. М., 1961.
5. *Сергеев-Ценский С.А.* Севастопольская страда. Кн. 1. Ч. 2. М., 1948. С. 159. Цит. по: *Будагов Р.А.* Введение в науку о языке. М., 1965. С. 56.
6. *Вандриес К.* Язык. М., 1937. С. 169–170.

Язык прессы

“В результате получается...”

© Е. А. ШНЫРИК

Под влиянием деловой речи на газетную полосу приходят клишированные фразы, сделанные по шаблону текстовые фрагменты и т.п. В последнее время на печатных страницах часто встречается слово *результат* и производное от него устойчивое сочетание *в результате*. Еще в 1991 году Е.Н. Ширяев писал об этом сочетании как о близком по своим функциям к стилистически отмеченным предложениям, употребляемым, главным образом, в научном и официально-деловом стилях [1]. Почти 20 лет спустя можно констатировать: *в результате* активно употребляется в текстах разных стилей, в первую очередь в текстах публицистических, где особенно велика потребность в смысловых блоках со значением констатации положения дел, подчеркивания результативных состояний.

При этом на коротком отрезке газетной полосы можно наблюдать нагромождение и самого слова *результат* и его лексикализованной словоформы *в результате*: “Губернатор подчеркнул, что достигнутые неплохие *результаты* – *результат* совместной работы милиции и администрации края” (Труд. 2006. 30 нояб.); “Когда и к каким *результатам* мы придем *в результате* этих усилий?” (Моск. комс. 2008. 9 февр.); “*В результате* может показаться, что вся эта история – либо *результат* отсутствия взаимодействия между госорганами, либо финал борьбы с олигархами” (АИФ. 2005. № 11).

Как правило, высокая частотность языковых средств вызывает вопрос о правильности и уместности их использования.

Для начала выясним значение, исходно заложенное в слове *результат*. Современные словари русского языка [2], [3] приводят два лексико-семантических варианта лексемы *результат*:

результат 1 – конечный итог, то, ради чего совершается целенаправленное действие значительной временной протяженности, а также показатель этой деятельности (результат проделанной работы, результаты исследования);

результат 2 – следствие, завершающее собой какие-нибудь действия, явления, развитие чего-нибудь (*травма стала результатом падения*). У В.И. Даля это значение выражено более определенно: “конечное, неминуемо наступающее проявление действия, причины” [4].

На основе слова *результат* образуются устойчивые обороты, позволяющие пишущему скреплять компоненты текста: *как результат, и вот результат, а результат получается следующий, результат не заставил себя ждать, результат не замедлил сказаться* и др. Особенно активно в качестве средства текстовой связи используется выражение *в результате* и предложно-падежное сочетание *в результате + + род. пад.*, которые успешно конкурируют со сходными по значению средствами, вытесняя их.

Доминирование скрепы *в результате* можно наблюдать прежде всего там, где речь идет о причинно-следственных отношениях. Такие отношения обычно выражаются с помощью местоименного наречия *поэтому*, а также глаголов *следовать, приводить к*. Их место в газетном тексте безоговорочно занимают *в результате, в результате чего, как результат*: “Одна из проблем нынешней власти в том, что она никак не может себя идеологически идентифицировать. *В результате* у нас мирно уживаются имперский орел в качестве герба, временноправительственный флаг и гимн советских времен” (Известия. 2004. № 208). Ср.: *поэтому у нас уживаются...*; “Наше телевидение сегодня ... – это страшный инструмент, с помощью которого бесконтрольно и постоянно происходят операции на народном сознании, с его помощью меняют саму психику народа. *В результате* – меняется сам характер народа” (Новые известия. 2005. 19 сент.). Ср.: *это приводит к тому, что...*

С помощью скрепы *в результате* заполняется ниша языковых средств, которые позволяют пишущему не просто обозначить следствие, вытекающее из упомянутой ситуации, но и передать динамический характер этой ситуации и неотвратимый ее исход.

Как естественный и нормальный воспринимается в газетных текстах производный предлог *в результате + род. пад.*, который обнаруживаем там, где подразумеваются производные причинные предлоги, имеющие положительное значение: *благодаря чему, с помощью чего, за счет чего*:

“*В результате упорного труда* десятков тысяч поселенцев эту пустынную территорию удалось превратить в цветущий оазис” (АИФ. 2005. № 33). Ср.: *благодаря упорному труду*; “*В результате тестов* выяснилось, что все три пробы корюшки полностью соответствуют стандартам экологической безопасности” (АИФ Приморье. 2008. № 9). Ср.: *с помощью тестов выяснилось*.

В подобных случаях наблюдается смещение фокуса отображения ситуации: причинная ее составляющая затушевывается, на первый план выступает подчеркивание результативного состояния.

Еще одно направление экспансии слова *результат*, точнее его лексикализованной словоформы *в результате* – вытеснение выражений, сигнализирующих о процессе протекания действия и о завершающем его этапе: *в ходе чего, во время чего, после чего*. Рассмотрим пример.

«Что делает небогатый владелец автомобиля, чтобы уменьшить в салоне уровень шумов? Идет на сервис “где подешевле”. Там мастера в грязных спецовках разбирают машину на кусочки, забивают повсюду вату или войлок и собирают все это обратно. “Лишние” детали, появившиеся в результате такого “тюнинга”, прячут подалее, чтобы хозяин чего плохого не подумал. В результате шума с улицы доносится немного меньше, зато начинает скрипеть обшивка, греметь торпеда и отваливаться органы управления» (Новые Известия. 2005. 26 авг.).

Нежелательный повтор (в результате тюнинга, в результате шума меньше) легко можно было бы устранить: *после такого тюнинга... после этого...* Но в подобных случаях для говорящего важно не только обозначить порядок событий на оси времени, но и заострить внимание на том, что завершающее действие несет на себе влияние, воздействие предыдущего.

Скрепка в результате используется не только для соединения двух отрезков объективной действительности, проявляя отношения обусловленности между ними, но и устанавливает связь между умозаключениями, являясь знаком суммирования, обобщения ряда исходных утверждений. В результате обнаруживает функциональную близость к вводным словам со значением вывода: *итак, таким образом, следовательно*. Значение вывода в достаточной степени раскрывается контекстом, включающим глаголы *получается, складывается (мнение)*: “Россия – страна евразийская. Она сочетает в себе элементы восточных и европейских тенденций. Но это наложено на фундаментальную азиатскую почву, которая превалирует. В результате получается оригинальный синтез из восточных, азиатских и западных европейских черт” (Известия. 2005. № 69); “Большинство людей, незнакомых с юриспруденцией, считают обвиняемого преступником. В результате складывается мнение, что адвокат защищает человека, преступившего закон” (Нов. изв. 2005. 13 июля).

Роль фильтра здесь, как нам кажется, играет стилистический фактор. Наукообразные *таким образом, следовательно* едва ли уместны в газетном тексте, вот почему предпочтение отдается ставшему в процессе активного употребления нейтральным *в результате*, содержащему к тому же указание на более или менее длительную ретроспективу рассматриваемых автором процессов.

Во всех перечисленных случаях выражение *в результате* сохраняет свое полное исходное значение, которое в обобщенном виде можно представить так: обусловленность одного действия другим плюс указание на исход, развязку, завершение, окончание чего-либо, исчерпанность действия. В ряде контекстов наблюдаем процесс семантического “выветривания”: значение обусловленности бледнеет, стирается, превалирует значение завершения. Если это значение уже выражено в другом компоненте высказывания, *в результате* становится избыточным с точки зрения выражения информации.

Приведем пример явной речевой неудачи – употребление *в результате* при сказуемом-предикате со значением “закончить”. Актриса Марина Могилевская рассказывает, как в ливень на машине с испорченными “дворниками” она из Киева добиралась до студии передачи “Доброе утро, Россия”, и завершает свое повествование так: “*В результате все закончилось тем, что* они (люди из больших дорогих джипов) отремонтировали щетки, накормили меня и проводили эскортом до самой Шаболовки” (АИФ. 2005. № 25). Лишнее в смысловом плане *в результате* здесь выступает как чисто композиционное средство – сигнал для читателя о развязке.

И еще одно наблюдение. *В результате* обнаруживаем на месте предлогов *в*, *при*, используемых при обозначении условий, обстановки, в которых протекает действие. Например: “Сокращение в 1.5 раза количества лиц, погибших *в результате дорожно-транспортных происшествий*, и снижение на 15 процентов в 2012 году количества подобных происшествий – таковы ожидаемые *конечные результаты* реализации программы” (Труд. 2007. 26 апр.). Ср. более уместное: *погибших в дорожно-транспортных происшествиях*; “*В результате подготовки вопроса* за основу были взяты показатели прожиточного минимума для пенсионеров и набор потребительской корзины в крае” (Утро России. 2007. 27 окт.) – Ср. правильное: *при подготовке вопроса*.

Расширение сферы употребления скрепы *в результате* скорее всего диктуется стремлением пишущего к максимальной точности высказывания, поисками адекватных способов дифференциации отношений между фактами, событиями, умозаключениями. Однако использование слова без всестороннего учета его лексико-семантических свойств обедняет речь пишущего, выступающего по радио, телевидению, бюрократизирует ее. Из всего многообразия синонимических средств языка работает, порой неоправданно, неуместно, лишь одно из них.

Литература

1. Ширяев Е.Н. Отношения логической обусловленности: способы выражения и их распределение по сферам языка // Грамматические исследования: Функционально-стилистический аспект. Морфология. Словообразование, синтаксис. М., 1991.
2. Словарь русского языка в 4-х т. Т. III. М., 1983.
3. Толковый словарь русского языка / Под ред. Д.Н. Ушакова. М., 2006.
4. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1995.

Приморский край,
с. Староварваровка
Анучинского р-на



Риторика и гомилетика

© Н. А. ФЕДОРОВСКАЯ,
кандидат искусствоведения

Исторически сложилось так, что термин *риторика* связывают, в большей степени, со светской культурой. Действительно, законы риторической науки широко применялись в ораторском искусстве античности, излагались в многочисленных светских трактатах по риторике, ставших основой обучения искусству красноречия.

Универсальные законы риторики как науки существовали в двух теориях: *ораторике* и *гомилетике*. Ораторика представляет собой искусство составления светских речей, произносимых оратором, – отсюда и название учения. Понятие “гомилетика” возникло от греческого слова *гомиллия*, обозначающего раннехристианскую проповедь, собрание, сообщество, беседу или учение. Образцом для гомилетики стала Нагорная проповедь Христа. Позже гомилетика стала обозначать учение о содержании и правилах составления христианской проповеди, науку о церковном красноречии [1. С. 57–64; 2. С. 205–210].

Главной целью гомилетика ставит совершенствование искусства проповеди для убеждения верующих следовать законам Христа, воспитания и поддержания православных морально-этических норм поведения. Поэтому требовался специальный подбор слов и словесных формул, отражавших тему проповеди. Особое внимание в теории гомиле-

тики уделялось формам речей, таким, как беседа, поучение, слово и их видам: нравоучительному, церковно-историческому, богослужебно-литургическому, а также произнесению проповеди и ее воздействию на слушателей [3–5].

Разработка проповеди начинается с нахождения темы и необходимого материала. Для этого использовались правила пяти разделов античной риторики [6]. Так, “Изобретение” (“*Inventio*”) и “Словесное выражение” (“*Elocutio*”) повествовали о правильном отборе слов, а также о риторических фигурах и тропах. Проповедь строится в строгом соответствии с законами, приведенными в разделе “Расположение” (“*Dispositio*”).

Гомилетика восприняла и такие разделы античной теории, как “Запоминание” (“*Memoria*”) и “Произнесение” (“*Pronuntiatio*”). В соответствии с их положениями большое внимание в речи проповедника уделялось манере произнесения, артикуляции звуков, логическим и грамматическим паузам, а также его поведению на амвоне и жестикеляции во время проповеди. Речь должна была быть плавной, торжественной с некоторыми элементами театральности, что способствовало лучшему восприятию содержания проповеди.

Несмотря на очевидное сходство риторической науки с искусством церковного красноречия, между ними имеются и существенные различия. Искусство риторики в светской культуре уже с древних времен постепенно превращалось в технологию составления речей с акцентом на том, “как сказать”. Теория подсказывала оратору, как правильно выбрать выражения и какие конструкции использовать, чтобы речь звучала красиво и убедительно. В результате содержательная ценность речи подменялась внешней красотой.

Гомилетика на первое место выдвигала духовно-нравственную сторону выступления. Главный акцент падал на то, “что должен говорить” священнослужитель, а “риторические технологии”, связанные с тем, “как должен говорить”, уходили на второй план. Красочная и выразительная речь хотя и ценилась достаточно высоко, ее излишнее украшательство, отвлекающее от духовного содержания, рассматривалось как серьезный недостаток.

Пришедшее на Русь вместе с православием учение о церковном красноречии стало неотъемлемой частью русской религиозной и светской культуры. Поэтому не случайно высказывание Ю.В. Рождественского о том, что с гомилетикой “связано становление русской культуры. Можно сказать, что русская гомилетика – основа русского мирозерцания до сих пор” [1. С. 208].

Большую роль в распространении гомилетики и устной риторической традиции играли приехавшие из Византии греческие церковнослужители. Через проповеди, общение с учениками и прихожанами они передавали основы ораторского риторического искусства. Сохранились

свидетельства, что в Древней Руси высоко ценили ораторские способности приезжих греков, которые владели “риторическим искусством” [7. С. 14].

Спустя годы традиции церковного красноречия развили и продолжили митрополит Иларион, Нил Сорский, Кирилл Туровский, протопоп Аввакум и другие выдающиеся русские проповедники. Классическими стали “Слово о законе и благодати” Илариона и “Молитвы Кирилла Туровского” [8. С. 29–32; 9]. Четкие по структуре, наполненные яркими образными сравнениями, метафорами и антитезами, они были образцами русской публичной речи.

Примером использования риторики в проповеди служит фрагмент из “Слова о законе и благодати” митрополита Илариона. Написанное в 1037–1050 годах “Слово” посвящено сопоставлению библейского закона Моисея и христианской благодати, пришедшей с Иисусом Христом, а также прославлению Руси как христианского государства вместе с князьями Владимиром Святославичем и Ярославом Мудрым: “И что успе закон? Что ли благодать? Прежде закон, Ти потом благодать; Прежде стень, Ти потом истина” [8. С. 29].

Отрывок демонстрирует активное использование целого комплекса риторических фигур. Риторические вопросы “И что успе закон?”, “Что ли благодать?”, с которыми Иларион обращается к слушателям, наполняют фрагмент античным пафосом и заставляют задуматься о его содержании. В тексте на словах “прежде закон... прежде стень” и “ти потом благодать... ти потом истина” вводится фигура “синонимического параллелизма”, включающая несколько синонимических строк, которые выражают один и тот же смысл различными, но близкими по сути средствами [10].

Параллелизм строк подчеркивается анафорой, основанной на повторе слов *прежде* и *ти потом* в начале строк, эпифорой, в которой повторяются слова *закон* и *благодать* в конце строк, а также антитезой *прежде закон – потом благодать, прежде стень – потом истина*, подчеркивающей противопоставление понятий *закон – благодать, стень – истина*. Благодаря риторическим средствам Иларион создал образно-яркую, логически выстроенную и хорошо воспринимаемую на слух композицию, которая на протяжении многих веков была образцом для создания произведений подобного жанра.

Законы гомиластики, а вместе с ними и риторика как наука, существовали на Руси в религиозной литературе.

В эпоху Нового времени духовные произведения продвигают риторику в светскую жизнь. Не случайно первыми авторами русских трактатов по риторике были либо служители церкви, либо воспитанные духовной средой люди. К примеру “Риторика” вологодского епископа Макария (1617–1619 г.г.) и развивавшая ее “Риторика” М.И. Усачева (1699 г.), а также “Риторика” (1620 г.), которая была переводом латин-

ской “Риторике” Филиппа Меланхтона (1577 г., Франкфурт) в переработке Луки Лоссия [11; 7. С. 36].

Обучение риторике начиналось в духовных учебных заведениях, где ее сначала учили по латинским, а затем и по русским учебникам. В 1632 году путем объединения школы Киево-Богоявленского братства и школы Киево-Печерской лавры была основана знаменитая Киево-Могилянская академия. В 1687 году была открыта Славяно-греко-латинская академия в Москве.

Академии стали важными центрами отечественной науки. Они готовили наставников славяно-греко-латинских академий, деятелей в области духовного просвещения, ректоров и преподавателей духовных семинарий, а также светских просветителей. Наряду с философией, арифметикой, геометрией, астрономией, славянским, греческим, латинским и другими языками, здесь учили риторике и богословию.

Сохранились трактаты по риторике преподававшего в Киево-Могилянской академии Феофана Прокоповича. В 1705 году им был написан курс лекций “De arte poetica” (“О поэтическом искусстве”), в 1706 году – “De arte rhetorica” (“О риторическом искусстве”), а также “Наставления проповеднику”, содержащиеся в “Духовном регламенте”. Тесно связана с Киево-Могилянской академией “Наука албо способ сложенія казанья” Иоанникия Голятовского (вторая половина XVII века) [12–14].

Говоря о риторике как науке, изучаемой в духовных учебных заведениях, следует упомянуть “Риторику” Софрония Лихуды, читавшего этот курс в конце XVII века в московской Славяно-греко-латинской академии. В 1792 году М.М. Сперанским были написаны “Правила высшего красноречия”, которые читались в Главной семинарии при Александро-Невском монастыре в Петербурге и были опубликованы в 1844 году [15].

Авторы русских риторик требовали ясности в изложении содержания текста, подчеркивая тем самым важность того, “что говорить”. В то же время, они не отрицали необходимости использования “риторических технологий”, позволяющих воспитывать слушателя через воздействие на его эмоции. Оба этих качества присутствовали и в средневековой гомилетике.

Таким образом, русская риторика имеет глубокие духовные корни. Став частью светской культуры в XVIII веке, риторическая теория продолжала восприниматься через призму нравственной культуры. Нельзя не упомянуть, что М.В. Ломоносов в своем выдающемся трактате “Краткое руководство к красноречию” (1748 г.) подчеркивал воспитательно-нравственную сторону искусства слова и специально указывал, что целью риторики является “формирование человека через обучение его наилучшим образом мыслить и чувствовать и выражать это прекрасным, красноречивым образом” [1. С. 77].

Литература

1. *Рождественский Ю.В.* Теория риторики. М., 1997.
2. *Мечковская Н.Б.* Язык и религия. М., 1998. С. 205–210.
3. *Аверкий (Таушев) арх.* Руководство по Гомилетике. М., 2001.
4. *Амфитеатров Я.К.* Чтения о церковной словесности, или Гомилетика. Киев, 1846.
5. *Певницкий В.* Церковное красноречие и его основные законы. Киев, 1906.
6. *Федоровская Н.А.* Роль риторики в русской духовной певческой культуре XVII – XVIII веков (на примере темы покаяния) / Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. канд. искусствовед. Владивосток, 2003.
7. *Аннушкин В.И.* Первая русская риторика. М., 1989. С. 14.
8. Древнерусская литература. Хрестоматия / под ред. Н.И. Прокофьева. М., 1980.
9. *Рогачевская Е.Б.* Цикл молитв Кирилла Туровского. Тексты и исследования. М., 1999. С. 177–191.
10. *Якобсон Р.О.* Работы по поэтике: Переводы. М., 1987. С. 100.
11. *Марченко О.И.* Риторика как норма гуманитарной культуры. М., 1994. С. 51; *Аннушкин В.И.* История русской риторики. М., 1998. С. 36.
12. *Хижняк З.І.* Киево-Могилянська академия. Київ, 1970.
13. *Хаззагеров Т., Ширин Л.* Из истории риторики в России // Русский язык. 2000. № 23.
14. *Калугин В.* Древнерусская литература // [www. Russk.ru](http://www.Russk.ru)
15. *Граудина Л.К., Кочеткова Г.И.* Русская риторика. М., 2001.

Языковая политика Ганзы в Великом Новгороде

© Л. П. ЛОБАНОВА,
кандидат филологических наук

Еще в 1492 году испанский гуманист Антонио де Небриха заметил, что “язык во все времена был инструментом господства”. Подтверждает этот постулат языковая политика Ганзы (торговый и политический союз северо-немецких городов во главе с городом Любеком. XIV–XVII вв.), которая определялась принципом: кому принадлежит язык, тому принадлежит и торговля. Такой подход обеспечивал ганзейским городам с XIII до конца XV века если не полную монополию, то, по меньшей мере, абсолютную торговую гегемонию в странах Северной Европы. От Брюгге до Лондона и от Бергена до Новгорода языком торговли был исключительно нижненемецкий язык. Лишь в Пскове и Новгороде, через которые на протяжении столетий велась вся торговля Ганзы с русскими землями, ганзейцы вынуждены были пользоваться русским языком. С этой целью они организовали обучение переводчиков, которые не только переводили коммерческие переговоры, но были также их организаторами, посредниками в торговых сделках, доверенными лицами купцов. По этой причине переводчикам давались особые гарантии безопасности, о чем свидетельствует известный торговый договор новгородского князя с нижненемецкими купцами от 1190 года.

Особую роль играл Новгород и новгородская контора Ганзы. В “Опыте повествования о древностях русских” Гавриил Успенский писал, что “в 1260 г. определено было в Любеке завести в Новгороде место складки товаров и спустя потом три года Российская история упоминает о Немцеком дворе в Новгороде. Впрочем, вероятно, что сие поселение сделано было частью от некоторых торговцев; ибо в самом деле первая Ганзейская в Новгороде контора учреждена около 1276 года” [1. С. 568]. Для Ганзейского союза, число членов которого достигало в некоторые периоды 108 городов, Новгород был крупным торговым центром, поскольку “был местом складки товаров для России, Лифляндии, Пруссии, Литвы, Польши, Татарии и Персии” [Там же]. Кроме Новгорода, немцы бывали в Пскове, Смоленске и Полоцке. Однако Новгород был главным пунктом, где издавались все постановления относительно торговли с русскими, имевшие силу закона для немцев и в других городах. Кодекс законов, которым регламентировались условия деятельности немецкой конторы в Новгороде, был принят уже в XIII веке.

В Новгороде ганзейцы организовали монопольное обучение русскому языку для подготовки переводчиков (tolke), поскольку ясно осознавали, что монополия на обучение переводчиков практически означала монополию на торговлю. Г. Успенский писал об этом: “Ганзейские города присвоили себе в Новгороде исключительную торговлю <...>, и чтобы не допустить других народов, а паче Голландцев, сей отрасли торговли обратить к себе, то не позволяли они ни одному купцу, не участвовавшему в их союзе, учиться в Лифляндии Российскому языку” [1. С. 574–575].

Первое упоминание о том, что подмастерья купцов направляются в Новгород для изучения русского языка, относится к 1268 году [2]. Ганза оговаривала в составленном ею на латинском языке проекте договора с великим князем Новгородским Ярославом Ярославичем (окончательный текст договора, заключенного в 1270 г., был составлен на русском языке и переведен на нижненемецкий), что юношам, посылаемым в Новгород для обучения русскому языку, не должны чиниться препятствия и должна быть гарантирована свобода передвижения: “Гости могут свободно и беспрепятственно посылать своих детей в страну, куда захотят, чтобы они учили язык” [3] (перевод везде наш. – Л.Л.).

Решением новгородской конторы в 1346 году был установлен и возрастной ценз для поступления на учебу будущих переводчиков: “Ни одному ученику старше двадцати лет не дозволяется учить [русский] язык в подсудном округе Новгорода или в городе Новгороде, независимо от того, кто он, если он хочет стать полноправным купцом” [4]. Более определенно комментирует наличие возрастного ограничения на обучение русскому языку Н. Костомаров в исследовании “Северорусские народоправства времен удельно-вечевого уклада”: “Сближение с Русскими дозволялось на столько, на сколько это могло быть полезно для общества. Таким образом, контора сознавала необходимость знания русского языка и держала у себя переводчиков; для этой цели их с детства отдавали учиться к русским людям, но запрещалось учиться порусски совершеннолетним, достигшим двадцатилетнего возраста, – чтоб не допустить личных сношений, независимых от конторы” [5].

Вопрос о профессиональной непригодности переводчика Новгородской конторы рассматривался съездом Ганзы, который и выносил постановление о его увольнении. В 1402 году, например, лифляндские города, входившие в Ганзейский союз, решили направить своего переводчика в Новгород. Они нашли кандидата на эту должность, который принял предложение. Позже, однако, выяснилось, что он не справляется со своими обязанностями из-за недостаточной профессиональной квалификации. Решением съезда ганзейских городов, который состоялся в Валке 29 марта 1405 года, переводчик был уволен: “Города договорились о том, что переводчика (tolke) в Новгороде следует уволить,

заплатив ему [положенное], поскольку купцу нет от него никакой пользы” [6].

Известны неоднократные попытки ганзейцев вытеснить своих конкурентов из торговли с русскими городами путем строжайших запретов на обучение русскому языку. В 1417 году, например, было принято постановление, в соответствии с которым “никому из тех, кто не входит в Ганзейский союз, не должно впредь позволять самовольно совершать торговые сделки в Лифляндии либо учить там язык, но лишь принадлежащим к Ганзе и родившимся в ганзейском городе” [6].

Существовала также практика применения более конкретных мер, в частности, введения “целевых” запретов на изучение русского языка, распространявшихся на определенные страны или города. Так, решением Ганзы, принятым в Любеке 16 июля 1423 года, запрещалось под угрозой наказания обучать русскому языку голландцев, а позднее этот запрет распространился и на французов, итальянцев, ломбардцев, англичан, шотландцев, испанцев и фламандцев. В 1434 году постановлением съезда лифляндских городов в Вольмаре этот запрет был подкреплен штрафными санкциями: если кто-либо уличался в обучении голландца русскому языку, то он должен был уплатить штраф в размере 10 марок серебром.

С помощью такой языковой политики Ганзе удавалось удерживать монополию на всем торговом пространстве в этом регионе вплоть до 1553 года. Окончательная утрата монополии произошла в результате основания в 1584 году порта Архангельск. Открытый северный морской путь дал дорогу к русским рынкам английским и голландским купцам.

Литература

1. *Успенский Г.* Опыт повествования о древностях русских. Часть первая. Харьков, 1818.
2. *Donnert Erich.* Russisch-deutsche Kulturbeziehungen und hansische Rußlandkunde zu Beginn der Neuzeit // *Zeitschrift für Slavistik* 16, 1971 (S. 133–144). S. 135
3. *Hansisches Urkundenbuch.* Band I. Dok. 663. Halle, 1876. S. 231.
4. *Liv-, Est- und Curländisches Urkundenbuch nebst Regesten.* Abt. I, Bd. 6, Nr. 2821, § 32, Sp. 142 / Hrsg. von Friedrich Georg von Bunge. Bd. 1–6. Reval: Kluge und Ströhm, 1853–1873.
5. *Костомаров Н.* Северорусские народоправства времен удельно-вечевого уклада. СПб., 1863. Т. 2. С. 200.
6. *Hanserecesse.* Die Recesses und andere Akten der Hansetage von 1256–1430. Bd. 5 / Bearb. von Wilhelm Junghans und Karl Koppmann. 8 Bände. Leipzig, 1870–1897.

Екатерина II и русский язык

© А. Д. ИВИНСКИЙ

“Были и небылицы” занимают особое место в журнале княгини Е.Р. Дашковой “Собеседник любителей российского слова”. Это одно из самых известных произведений Екатерины II, хотя и опубликовано оно без подписи автора. Именно здесь императрица сформулировала основные принципы своей языковой программы.

В ее основе – осознание необходимости “очищения” языка. Для успешного решения этой задачи необходимо дистанцироваться как от “русских французов”, презирающих все русское, так и от педантов, нагоняющих на читателя “скуку”. Именованье литератора “скучным” – наиболее жестокое наказание. По мнению Екатерины, “скуку” вызывают сочинения “грамматиков”, интересующихся формой, а не содержанием: “Скучны <...> грамматические критики на и, на ы, на я, на е, на ой, наипаче нам неграмотным людям. Сумнительно, сумнительно, чтоб многие такие критики читали” [1. Ч. 3. С. 132–133]. Именно стремлением отмежеваться от подобного рода критиков объясняются регулярно повторяющиеся заявления Екатерины об отсутствии у нее специальной лингвистической подготовки: “Я первоначальных правил грамматики отнюдь не знаю, а еще менее (не быв ни чему учен) возмогу порядочно мысли и ум настроить, аки клавикорты, либо скрипицу” [1. Ч. 8. С. 169].

Автор не должен быть скучным педантом. Он пишет потому, что не может “видеть чистого пера...” [1. Ч. 3. С. 135]. Он дилетант, для которого литература – “безделушки”, “безделицы”: “Мои сочинения, украшающие по словам вашим Собеседника <...> помещены быть могут в числе ничего не значущих безделушек, коих вся доброта состоит единственно в том, что не длинны, не скучны...” [1. Ч. 6. С. 149]. В этом контексте приобретает свое значение выдвинутое Екатериной требование писать, как говорят: “Кажется пишу, как я, и вы и многие говорите, по крайней мере не один так говорю” [3. С. 49].

“Скуке” противопоставляется “приятство”, которое гораздо важнее писательского мастерства или нравоучительного пафоса. “Приятные” произведения отличаются естественностью и простотой: “...надутых и высокопарных слов не употреблять, где пристойнее, пригожее, приятнее и звучнее обыкновенные будут” [1. Ч. 8. С. 174–175]. “Надутые” и “высокопарные” слова – это область риторики и пропо-

ведей. “Были”, отличающиеся ясностью и легкостью слога, должны отвращать “скуку, дабы красавицам острокаблучным не причинить истерических припадков безвременно” [Там же].

Одним из главных достоинств литературного текста Екатерина считала краткость: “Я всегда пишу умнее, когда пишу сократительнее. <...> Длинно и пространно писать есть не наше дело” [1. Ч. 7. С. 128]. Немотивированность отбора жизненного материала признается в качестве главного принципа организации текста. Екатерина старательно делает вид, что на страницы “Былей” может попасть все, что находится в поле зрения автора: “так паки пишу, что на ум придет” [1. Ч. 8. С. 161]. Мало того – как выясняется, процесс письма может полностью подчинить себе пишущего: “я не то сказать хотел.., а вылилось почти так, но во время еще успел остановить словесный поток” [1. Ч. 6. С. 145]. Зафиксировать всю полноту душевной жизни человека невозможно, остается только то, что успеваешь записать кратко, набросками. Именно поэтому записи делаются на разрозненных листках, клочках бумаги: “Были и небылицы на верное знаю из опытов гораздо свободнее пишутся на маленьких лоскутках бумаги, нежели на большом листе” [1. Ч. 6. С. 146].

Она убеждена, что должны появиться “нового рода сочинения”, отличающиеся “приятной простотой и легкостью штиля” [1. Ч. 6. С. 175–176]. Ее собственным “Былям и небылицам”, как ей кажется, удастся избежать “общих мест риторических, служащих многим авторам в их творениях” и “фигур, употребляемых всеми витиями”. Очень важно для императрицы, что “Были” “ни мало не украшены слогом громким, важным и высоким, каковым следуя правилам риторическим изъяснить их долженствовало” [1. Ч. 6. С. 177].

Как видим, Екатерина предвосхитила размышления о литературе и языке Карамзина и его младших современников. По сути, знаменитое батюшковское “Кто пишет так, как говорит, / Кого читают дамы” – считающееся поэтическим выражением карамзинского литературного кредо [2. С. 59], полностью применимо и к программе екатерининских “Былей и небылиц”. Сходство можно найти и в частных деталях: призыв к “приятности” языка [2. С. 19]; отрицание грамматических правил, следование которым понимается как “педанство” [2. С. 20–21]; установка на “узус, а не на стабильную норму” [2. 6. 30]; эстетизация быта, которому придается литературное значение.

Однако напрашивающийся вывод о пред- или протокарамзинистском подтексте литературной позиции Екатерины будет преждевременным: слишком часто она пыталась обосновать положения, которые слабо сочетались с тем культурным образом просвещенного европейца, который будет так важен для всей “школы Карамзина”.

Так, в неопубликованной части “Былей” Екатерина обращается к проблеме статуса русского языка. Она подчеркивает его богатство и

древность, которые ничем не уступают любому европейскому языку: “Славяне, победа весь свет, не единожды разнесли язык свой повсюду. Удивительно лишь только то, что были времена такие, в кои нас уверяли и мы уверены были, что в богатейшем и пространнейшем в свете языке нашем не находится слов для написания письма и заимствовали непрестанно из иностранных языков, даже до мелочных званий разных вещей <...>” [3. С. 50].

Размышления об историко-культурном значении русского и церковнославянского языков постоянно поддерживались ее занятиями этимологией, сведения о которых находим в письме Гриму от 24 декабря 1783 г.: “Знайте, что мы теперь заняты самыми странными разысканиями о древних славянах и что все имена, которые ничего не значат во всяком другом языке, имеют свои прекрасные значения на славянском, например: *Ludwig*, *lud* значит люди, *dwig* – идти, это как бы: двигать, приводить в движение людей; *Ramir* или *Radmir* значит радующийся миру: *Rad* – радующийся, *mir* – мир” [4. С. 21–22]. Такого рода упражнениям Екатерина уделяла много времени, не уставая рассуждать о пользе сравнительного изучения языков и открывая все новые “соответствия” между “славянским” и языками романо-германской группы [4. С. 412].

Поиск корней слов, желание понять их значение путем сравнительного анализа языков – вот что интересовало Екатерину. Не случайно она так много работала со словарями. Славянский язык признавался ею, наравне с кельтским, “материнским языком” всех других европейских языков [4. С. 424]. Филология у Екатерины фактически смыкалась с историей и политикой, причем образу истории, базировавшемуся на “этимологии”, приписывалось важное общественное значение: он должен был служить двум взаимосвязанным целям – патристическому воспитанию юношества и прославлению государства.

Напрашивается параллель Екатерина – А.С. Шишков, языковая позиция которого фактически базировалась на ее тезисе о древности “славянского” языка: «По мнению Шишкова, церковнославянский язык был первобытным языком всего человечества и сохранил в наибольшей чистоте первоначальную систему связи понятий, “коренные” образные формы идеального первоязыка» [5. С. 215].

Однако и к “шишковизму” языковая программа государыни отнюдь не сводится. В “Завещании” автора “Былей” провозглашается принцип синтеза тех установок на языковой пуризм и игровое отношение к литературному тексту, которые впоследствии будут признаны несовместимыми и лягут в основу программ Шишкова и Карамзина: “2. Писав, думать не долго и не много, наипаче не потеть над словами. 3. Краткие и ясные изречения предпочитать длинным и кругловатым. 4. Кто писать будет, тому думать по-русски. 5. Иностранные слова заменить русскими, а из иностранных языков не зани-

мать слов; ибо наш язык и без того довольно богат. 6. Красноречия не употреблять нигде, разве сам собою на конце пера явится. 7. Слова класть ясные и буде можно самотеки. 8. Скуки не вплетать нигде, наипаче же умничанием безвременным. 9. Веселое всего лучше; улыбабельное же предпочесть плачевным действиям. 10. За смехом, за умом, за прикрасами не гоняться. <...> 11. Ходулей не употреблять, где ноги могут служить, то есть надутых и высокопарных слов не употреблять, где пристойнее, пригожее, приятнее и звучнее обыкновенные будут. <...> 13. Проповедей не списывать и нарочно оных не сочинять. 14. Где инде коснется до нравоучения, тут оные смешивать наипаче с приятными оборотами, кои бы отвращали скуку, дабы красавицам острокаблучным не причинить истерических припадков безвременно. 15. Глубокомыслие окутать ясностию, а полномыслие легкостию слога, дабы всем сносным учиниться. <...> 18. Стихотворческие изображения и воображения не употреблять, дабы не входить в чужие межи <...>” [1. Ч. 8. С. 174–175].

О принципиальности данной позиции говорит и развернувшаяся полемика на страницах журнала с критиком, укрывшимся за псевдонимом *Любослов*, “наиболее неприятным” “издателям и сотрудникам” журнала [6]. Однако кто скрывался за этим псевдонимом, до сих пор не установлено.

Свою точку зрения Любослов обстоятельно излагает в “Начертании о российских сочинениях и русском языке”. Главный его тезис – “он [русский язык. – А.И.] изобилием, красотою и важностию превосходит все новейшие языки” [1. Ч. 7. С. 148]. Основной раздражитель для Любослова – те, кто “неосновательно жалуются на скудость Российского языка”. Русский язык обычно ругают “иностранцы”, то есть те, кто, выехав “из своего отечества в малолетстве, едва букварь читать умея”, прожили всю сознательную жизнь за границей и наполнились “через обхождение и чрез чтение книг знанием и люблением иностранных языков”. Но гораздо более обидны Любослову отрицательные отзывы о русском языке не “иностранцев” (это у него “возбуждает смех и несносную досаду”, не более), а наших отечественных невежд: “Однако то еще несноснее кажется, когда не иностранцы, но свой Российский язык пред другими унижают, и вместо того, чтобы прилежанием своим выбрав из книг и разговоров, что есть сильно, приятно и великолепно сокровищем оного обогатиться, и тем обогащать сочинения свои, отнимают неосновательными рассуждениями своими и у других к тому охоту” [Там же. С. 149–150].

Любослов приводит целые ряды соответствий латинского и славянского языков (*agnus* – агнец, *ambo* – оба, *ancora* – якорь, *dies* – день, *domus* – дом и т.п.) и делает вывод, полностью соответствующий позиции Екатерины: “Здесь ни по какой причине сказать нельзя, чтобы Славенские слова были моложе Латинских. Ибо позднее чужестран-

ных введение бывает по большей части с вещьми новыми: как то у нас при введении Греческого Православия вошли в язык речения Греческие, а с учреждением флота Голландские, Английские, Немецкие, Французские и пр. Но вышепоказанные слова должны были начаться купно с началом Славенского и Латинского народа; для того что они значат вещи необходимо нужные в человеческой жизни и относящиеся к нравственному и физическому употреблению" [1. Ч. 7. С. 155].

Все эти "соответствия" и доказывают, как полагал Любослов, что "Славенского языка древность не токмо равна древности Латинского, но <...> оную <...> превышает". Славянский язык существует более двух тысяч лет [Там же. С. 157]. Но, имея такой богатый древний язык, россияне пренебрегают им.

Совпадения в выводах Любослова и Екатерины очевидны, как и несомненная близость его суждений мнениям Шишкова, которому, на наш взгляд, вполне мог принадлежать данный псевдоним.

Выразив и обосновав ряд идей, которые Екатерина считала своими, он не смог подняться до идеи синтеза, ограничившись "шишковистской" точкой зрения. Именно поэтому, с одной стороны, в "Собеседнике" регулярно печатались его статьи, а с другой, они периодически становились мишенью для насмешек. Так Екатерина и Дашкова подчеркивали значимость и необходимость сочетания тех двух лингвистических идей, которые впоследствии окажутся противопоставлены в положениях "карамзинистов" и "шишковистов".

Литература

1. Собеседник любителей российского слова, содержащий разные сочинения в стихах и в прозе некоторых российских писателей. Части 1–16. СПб., 1783–1784.
2. Успенский Б.А. Из истории русского литературного языка XVIII – начала XIX века. Языковая программа Карамзина и ее исторические корни. М., 1985.
3. Пекарский П. Материалы для истории журнальной и литературной деятельности Екатерины II // Записки императорской Академии наук. 1863. Т. III.
4. Пыпин А.Н. Исторические труды императрицы Екатерины II // Сочинения императрицы на основании подлинных рукописей и с объяснительными примечаниями академика А.Н. Пыпина. СПб., 1906. Т. 11.
5. Виноградов В.В. Очерки по истории русского литературного языка XVIII–XIX веков. М., 1982.
6. Грот Я.К. Жизнь Державина. М., 1997. С. 219.



“Чувство духовной очевидности”

Речевые приемы Ивана Ильина

© Н. К. МИРОНОВА

Почти любой текст И.А. Ильина – интереснейший объект для исследования; и, возможно, со временем ученые признают индивидуальные языковые способности этого мыслителя, оратора и критика феноменальными. Для его наследия – а это свыше 40 книг и брошюр, сотни статей и лекций, письма, воспоминания – характерен мгновенно узнаваемый стиль. Важнейшая черта его – выверенная логика аргументации, опирающаяся на глубоко проработанную и единую для всего творчества топику.

В своих философских работах и трудах о природе “подлинной художественности” И. Ильин развивал концепцию духовной очевидности как способа постижения истины в личном переживании созерцающей души, которая погружается в предмет научного исследования или искусства. По убеждению философа, общение людей можно считать успешным, если “читатель и зритель чувствует себя захваченным некоторой высшей необходимостью, которая требует его внимания целиком” (Художник и художественность) [1].

Безусловно, Ильину-публицисту было бы невозможно достичь высокой (признаваемой даже его политическими противниками) степени убедительности единственно за счет доказательной аргументации. Между тем текстологический анализ его работ убеждает в том, что бездоказательная аргументация в критическом тексте не ориентирована

на передачу конкретных душевных эмоций, фиксируемых учебниками классической риторики. Вместо частных душевных переживаний читатель-слушатель очень скоро с удивлением замечает, что не просто напряженно внимает, но и способен достраивать интеллектуально-логические, ценностные и образно-метафорические схемы И. Ильина, предугадывая слова говорящего. На этом этапе происходит уникальное по природе и силе присоединение аудитории: достаточно несколько раз пережить минуты сотворчества говорящему, два или три раза предвосхитить его мысль, чтобы ощутить “духовную очевидность” предмета речи в целом.

Главным инструментом, который применял И.А. Ильин, являются параллельные синтаксические конструкции: “Быть может, *воображение* художника слишком утонченно, духовно и неосяземо. Быть может, *сердце* его слишком нежно, страстно и трепетно. Или *воля* его непомерно сильна и непреложна в своем законодательстве. Или *мысль* его более мудра и отреченна, чем это по силам его современникам” (Основы художества. О совершенном в искусстве. 1937). Так задается не только ритм, но и иерархия параллельных миров человеческой души – уровня воображения, сердца, воли, рассудка.

Весьма часто синтаксический параллелизм выражается в использовании *классического периода*. В современной науке *период* рассматривается “как сложное синтаксическое построение, которое характеризуется подробным развитием мысли, ритмической законченностью интонации и употребляется как стилистический прием” [2]. «Образуется такая фигура простым или сложным предложением либо сложным синтаксическим целым, которое четко расчленяется на две интонационно противопоставленные части. Первая носит название “протасис” и характеризуется восходящим движением тона и в свою очередь членится на ряд однородных элементов, которые... носят название “членов или колонов”. Вторая часть, называемая “аподозис”, характеризуется нисходящим тоном» [3].

Можно утверждать, что Ильин не просто владел навыками периодической речи, но, по сути, редко говорил и писал иначе. Даже внешне типичный абзац текста Ильина может строиться на нескольких – от двух до семи-восьми – параллельных конструкциях, часто разделенных “излюбленным” знаком препинания – точкой с запятой. В подавляющем большинстве случаев конструкции начинаются анафорой местоимения или полнозначного слова: “Ты бог – и я тебя убью. Ты бог – и я призван тебя остановить. Ты бог – и пока ты жив, мне нет на земле ни жизни, ни воздуха” (“Моцарт и Сальери” Пушкина. 1941).

И.А. Ильин четко следовал принятой для данного периода синтаксической схеме. Это дает читателю-слушателю возможность, осознав логическую и синтаксическую модель первых двух-трех колонов, мысленно достраивать последующие прежде, чем это будет им прочтено

или услышано: “Гений одним бытием своим ставит слепых и неодаренных людей в тень. Праведник одною жизнью своею обличает кривых, лукавых и лицемеров. Герой уязвляет негероя одними делами своими... Великий монарх всегда должен быть готов к смерти. То, чего человек сам лишен, он не терпит в своем ближнем” (Национальная миссия Пушкина. 1937).

Период Ильина бывает оформлен либо в виде анафоры, либо в виде регрессии: «Мало “иметь власть над материалом”... Мало делать “вихрем трепещущую трель” октавой в левой руке, мало иметь “умопомрачительную” твердость носка, мало иметь “сверхсоловьиную” колоратуру, мало врезать в мрамор легчайшие эфиры, мало нарисовать виноград так, чтобы птицы поверили и склевали картину без остатка. Все это может быть “изумительно”, “поражающе”, “единственно в своем роде” – и нехудожественно» (Борьба за художественность. 1934).

В синтаксическом аспекте период является удобным “плацдармом” для развертывания регрессии. Частотность употребления регрессий объясняется тем, что мировоззрение Ильина-мыслителя в высшей степени целостно. Сущностная черта этого мировоззрения – иерархичность, разделение мира на горизонтальные уровни, миры, “чины”, подчиненные, но пронизанные вертикальными аналогиями, например: “Духовное созерцание есть истинный и глубочайший источник всего великого на земле – и в религии, и в науке, и в добродетели, и в политике, и в искусстве: в *религии* человек молитвенно созерцает Бога сердцем; в *науке* он систематически созерцает мыслью сущность мира; в *добродетели* он созерцает совестью совершенное состояние человеческой души; в *политике* он созерцает волевым воображением историческую судьбу своего народа и своего государства; в *искусстве* он созерцает нечувственные сущности мира, чтобы верно облечь их в чувственные образы и осязаемое земное тело...” (Национальная миссия Пушкина).

Помимо регрессии Ильин активно использует и другие “фигуры мысли”, только построенные уже на основе контраста. Это *градация* и *антитеза*. Наиболее интересна у Ильина не градация высказываний (например, градация колонов в периоде), а градация, развиваемая на уровне ряда слов: “...Во всех сферах жизни талант может служить *ничтожному, мелкому, пошлому, злему*” (Национальная миссия Пушкина). Для Ильина градация определений-эпитетов, дополнений или обстоятельств есть не только привычный способ украсить речь, создав вектор повышения эмоционального тона, но это еще и скрытый способ проповеди ценностей.

В большинстве случаев за рядом слов скрывается целое “богословие в миниатюре”. В статье, посвященной творчеству Шмелева, Ильин писал: “...Мир ужасен, он бурно неистов в своих темных *влечениях, грозах, срывах и провалах*”. Словесный ряд в точности соответствует

церковному пониманию “физики” греха: вначале человек чувствует *влечение* к греху, но это еще не грех, а так называемый “прилог”. Затем начинается “гроза” – борьба с греховным помыслом, уже угнездившимся в сердце, но еще не вылившимся в греховное деяние. “Срыв” – это единичное прегрешение, которое еще можно очистить покаянием, и, наконец, “провал” – торжество греховной страсти в душе человека, когда спасти может только Чудо.

Итак, жесткий синтаксический параллелизм с анафорой или регрессией, членение текста на периоды, широкое применение градаций и антитез позволяют И.А. Ильину оперативно развернуть перед читателем-слушателем свою “картину мира” в миниатюре, вовлечь в собственную систему этических, логических и патетических координат и предложить читателю самому играть на этом поле. Так волевой перенос творческой работы в поле сознания читателя-слушателя, возникновение “сорботничества” с автором становится мощным орудием эмоционального убеждения, вызывающим у аудитории чувство “духовной очевидности”.

Литература

1. Ильин И.С. Собр. соч. В 10 т. М., 1996.
2. Граудина Л.К., Кочеткова Г.И. Русская риторика. М., 2001.
3. Хазагеров Г.Г., Ширина Л.С. Общая риторика. Курс лекций и “Словарь риторических фигур”. Ростов-на-Дону, 1994.



Жук и жаба, брат и сват...

О местоименных фразеологизмах в говорах

© И. А. КОБЕЛЕВА,
кандидат филологических наук

Во фразеологическом составе современного русского языка в настоящее время выделяют до десяти лексико-грамматических разрядов, самыми бесспорными, признанными из которых являются разряды фразеологизмов **именных** (предметных, субстантивных), например – *гусь лапчатый, злые языки, глагольных* (вербальных, процессуальных) – *выносить сор из избы, сбиться с панталыку, адъективных* (призначных) – *на рыбьем меху, ни жив ни мертв, адverbиальных* (качественно-обстоятельстванных, наречных) – *за тридцать земель, голыми руками*. Местоименные фразеологизмы такого однозначного статуса еще не имеют, хотя теоретическое обоснование выделения их в самостоятельный лексико-грамматический разряд уже сделано [1].

Если согласиться с существованием этого особого лексико-грамматического разряда, то в литературном языке в состав местоименных фразеологизмов войдут почти тридцать единиц, например, как *ваш покорный слуга* – “я”, *наш брат* – “мы”, *каждая собака* – “все”, *что душе угодно* – “всё”, *ни души* – “никого” и под. Общим свойством местоименных фразеологизмов, позволяющим объединить их в один лексико-грамматический разряд, является то, что они выступают функциональными заместителями некоторых местоимений. По этой причине исследователи могут использовать для названия единиц рассматриваемого разряда термин *проместоименные фразеологизмы* [2, 3].

В русских народных говорах местоименные фразеологизмы представлены более многочисленно и разнообразно по сравнению с литературным языком. Они могут указывать на **лицо** – *жук и жаба* “каждый, всякий, все без исключения” [4. С. 40]; *и с пешим, и с конным, и с лешим*

“со всяким, с любим, с каждым” [5. Т. 3. С. 121]; **предмет** – *всяко место* “всё, что угодно” [6. С. 215], *всякая всячинушка* “все, что угодно” [5. Т. 1. С. 251]; **признак лица или предмета** – *любой и каждый* “всякий” [6. С. 205], *всяко-всякущий* “о многом и разнообразном” [5. Т. 1. С. 250]; **отсутствующее количество предметов** – *ни капочки* “нисколько” [5. Т. 2. С. 327], *ни пухтинки* “нисколько” [5. Т. 2. С. 327; Т. 4. С. 526] и др.

Грамматическая характеристика диалектных оборотов выявляется, исходя из их соотношения с различными разрядами местоименных слов. Если в составе фразеологии литературного языка “отсутствуют единицы, которые соотносились бы с местоименными прилагательными и числительными” [1. С. 102], то в составе диалектной фразеологии обнаруживаются единицы, соотносимые не только с существительными, но и с прилагательными, и с числительными.

К местоименным фразеологизмам, способным выступать **вместо местоимений-существительных**, относятся единицы, замещающие:

личные местоимения *я, мы* – *наша бражка* “я и мне подобные” – *Наша бражка и молодых одолеет: враз все сделаем* [6. С. 29]; *моя душа* “я, я сам” – *Он выступиў этим дедом Морозом и grit: неуш моя душа йе-цё когда выступит, не выступиў большэ* [7. Т. 12. С. 402] и др.;

определятельные местоимения *всё, все* – *всякое (каждое) место* “все, что угодно” – *У вас в городе супы-то должны быть хорошие, у вас тамока всяко место есть дак* [8. Т. 4. С. 82]; *брат и сват* “каждый, всякий, любой (о человеке)” – *Даю и брату и свату бывала на вецарам (водку в магазине)* [4. С. 19] и др.;

вопросительные местоимения *кто, что* – *кака задница?* “кто?” – *Оне проворные в село ходить-то. А нам кака задница хлеб принесёт?* [6. С. 129]; *кой прах* “что, чего?” – *Кой прах ему здесь надо-то?* [8. Т. 8. С. 34] и др.;

неопределенные местоимения *кто-либо, что-либо* – *человек-другой* “кое-кто, один человек, некто” – *Поцсказал мене тожо человек-другой. Я не сказала целовека-то* [7. Т. 12. С. 306]; *что ни есть* “что-нибудь из того, что имеется в наличии” – *На голову одень что ни есть, пблу-то [= непокрытую] простудишь* [9. С. 291] и др.;

отрицательные местоимения *никто, ничто, нисколько* – *ни одной крещеной души* “никого, ни одного человека” – *Сентябрь наступит, ни одной крещеной души не будет* [5. Т. 3. С. 20]; *ни аз ни глаз* “ничего” – *Ни аз ни глас не видно, весь ф сияках* [7. Т. 1. С. 64]; *ни носа* “нисколько” – *Чаю ни носа не могла пить, три чашечки только* [5. Т. 4. С. 42] и др.

Некоторые словосочетания, использующие при толковании отрицательное местоимение *ничего*, следует рассматривать не как местоименные, а как именные фразеологизмы – судя по приведенному иллюстративному материалу, они выполняют отнюдь не указательную, а номинативную функцию, и их значение подлежало бы сформулировать иначе:

синий порох “ничего” – *Барышня-то синего пороху нам взять не давала, строго следила* [10. Т. 8. С. 129]; *расколотого гроша* “ничего” – *Я, можно сказать, батрачила всю жизнь, расколотого гроша не получивала* [6. С. 92] – здесь было бы правильное вывести значение “самая малость, ничтожное количество”, поскольку идея отрицания содержится не во фразеологизме, а в глагольной форме, обязательным сопроводителем которой является отрицательная частица;

шила-мыло “ничего” – *Грибы почистила, да шила-мыла там осталось, гнилье все* [5. Т. 3. С. 278]; *горсть волос* “ничего” – *На его только махнуть; чё с его, дурного, возьмешь? Горсть волос* [6. С. 90] – здесь было бы вернее сформулировать значение “нечто непригодное, несостоящее”, поскольку фразеологизм не указывает на отсутствие каких-либо предметов, а дает крайне отрицательную оценку их качеству.

К местоименным фразеологизмам, способным выступать **вместо местоимений-прилагательных**, относятся единицы, замещающие определительные местоимения *всякий, каждый, любой* – *любой и каждый* “всякий” – *Про жись-то любя и кажна из нас расскажет* [6. С. 205]; *сырым и вареным* “все и во всяком виде” – *Нашего брата надо принимать сырым и вареным* [6. С. 370]; *всякий-який* “разнообразный” – *Обутка-то всяка-яка была* [5. Т. 6. С. 958] и др.

К местоименным фразеологизмам, способным выступать **вместо местоимений-числительных**, относятся единицы, замещающие отрицательное местоимение *нисколько*. Они сочетаются с существительными, имеющими форму родительного падежа и обозначающими то, что может быть подсчитано или измерено, то есть допускает количественную характеристику: *ни ребезу* “нисколько” – *Два горшка была, а к вечеру шей – ни ребезу* [4. С. 65]; *ни капочки* “нисколько” – *Рыбы не съест ни капочки* [5. Т. 2. С. 327]; *ни пихтинки* “нисколько” – *Сена ни пихтинки, один пепел* [5. Т. 4. С. 526] и др.

В предложении местоименные фразеологизмы выполняют синтаксическую функцию согласно тому, местоимения какой “частеречной принадлежности” они заменяют:

если они заменяют местоимения-существительные, то им свойственна функция **подлежащего**: *ни одна страмина* “никто” – *Жив Петро был, дак каждой день заезжали, а топеря ни одна страмина не привернет* [6. С. 363] или **дополнения** – *не лысу не бесу* “ничего” – *Меня напоили – не лысу не бесу не помню* [6. С. 205] и др.;

если они заменяют местоимения-прилагательные, то для них характерна функция **определения**: *всяко-всякущий* “о многом и разнообразном” – *Лесу наваляще всяко-всякущего* [5. Т. 1. С. 250] или **сказуемого**: *всякий-який* “разнообразный” – *Обутка-то всяка-яка была* [5. Т. 6. С. 958] и др.;

если они заменяют местоимение-числительное, то выполняют при этом функцию **дополнения**: *ни капочки* “нисколько” – *Рыбы не съест*

ни капочки [5. Т. 2. С. 327] или **сказуемого** – *ни пихтинки* “нисколько” – *Сена ни пихтинки, один пепел* [5. Т. 4. С. 526] и др.

Итак, местоименные фразеологизмы, функционирующие в современных русских народных говорах, составляют довольно объемную группу единиц, проявляющих своеобразные семантические и грамматические свойства. В отличие от литературных фразеологизмов анализируемого типа, способных занимать место лишь личных, определенных и отрицательных местоимений, диалектные местоименные фразеологические единицы могут замещать значительно большее количество местоименных слов, вследствие чего их и семантика, и грамматические особенности оказываются существенно более разнообразными.

Литература

1. *Хуснутдинов А.А.* Есть ли в русском языке местоименные фразеологизмы? // Фразеологизм и его лексикографическая разработка. Минск, 1987. С. 101–103.
2. *Ляхова Т.Н.* Синтаксис фразеологической единицы. Автореф. дис. ... канд. филол. наук. СПб., 1992.
3. *Ермилова М.Л.* Лексическая и грамматическая сочетаемость фразеологических единиц современного русского языка. Автореф. дис. ... канд. филол. наук. СПб., 1994.
4. *Словарь псковских пословиц и поговорок.* СПб., 2001.
5. *Словарь русских говоров Карелии и сопредельных областей.* СПб., 1994–2005.
6. *Прокошева К.Н.* Фразеологический словарь пермских говоров. Пермь, 2002.
7. *Архангельский областной словарь.* М., 1980–2004.
8. *Словарь вологодских говоров.* Вологда, 1983–2007.
9. *Кобелева И.А.* Фразеологический словарь русских говоров Республики Коми. Сыктывкар, 2004.
10. *Новгородский областной словарь.* Новгород, 1992–2000.

“Ишь какой додельный!”

О елецких говорах

© И. М. КУРНОСОВА,
кандидат филологических наук

В диалектном членении русского языка елецкие говоры отнесены к одной из межзональных групп говоров южнорусского наречия. Изучены они мало, но есть отдельные сведения об их фонетических и морфологических особенностях, а также об образовании и бытовании некоторых слов и словоформ [1–5].

Южнорусские говоры, как известно, очень разнородны по своему составу. Д.К. Зеленин отмечал в “южновеликорусских губерниях такую пеструю смесь населения”, что “распространение здесь разных этнографических и диалектологических признаков подчиняется не географическому принципу, а какому-то иному” [6].

Географическое положение Ельца и многовековая история елецких земель, вместившая в себя многочисленные войны, разорения, пожары, естественные и насильственные миграции населения, обусловили образование “богатейшего языка, в котором благодаря географическим условиям слилось и претворилось столько наречий и говоров чуть не со всех концов Руси” [7]. Являясь межзональными, современные елецкие говоры содержат диалектные элементы, общие для граничащих с ними говоров, и в то же время имеют свои, специфические слова и выражения, среди которых есть и не зафиксированные словарями русского языка.

Одной из тематических групп, представляющих большой интерес и в языковом, и в культурологическом аспектах, является лексика, характеризующая человека. Мы рассмотрим лишь группу экспрессивных существительных и прилагательных, дающих человеку эмоционально-оценочную характеристику.

Одни слова являются номинативами по отношению к обозначаемому лицу, выражая при этом также оценку и его эмоции. Другие – номинативной функции не выполняют, будучи лишь средством выражения отрицательных эмоций говорящего и его желание оскорбить, унижить адресата (так называемые бранные слова) [8]. Эти слова мы оставляем без рассмотрения.

1. **Внешний вид человека:** *аляпа* “грубый, безвкусный человек”; *брылястый* “с большими, отвисшими губами”; *будылястый, длинно-*

будылый, *длинногачий* “высокий, с длинными ногами”; *гладкий* “полный, упитанный, плотный”; *дробный* “худой, невысокого роста”; *коржавый* “безобразный, уродливый, морщинистый”; *кулёма* “безобразно, неопрятно одетая женщина”; *охряпка*, *отряшка* “неопрятный, грязный, оборванный человек”; *сопушной* “испачканный, грязный” и др. По наблюдениям лингвистов, большинство характеризующих именованных человека являются производными (структурно или семантически) [9]. Особенно верно это суждение по отношению к эмоционально-оценочным характеристикам человека по внешнему виду, в основе которых чаще всего лежит сравнение внешнего вида человека с каким-либо предметом. Так, *брылястый* человек вызывает отрицательные эмоции, поскольку имеет *брылы* (или *брыли* – диалектное название больших, отвисших, некрасивых губ), напоминающие толстые, отвисшие по бокам углы губ у некоторых пород собак. При замене этого слова прилагательным *губастый* негативное восприятие внешности человека значительно ослабевает. Некрасивость *будылястого*, *длиннобудылого* человека основана на сравнении его с *будылью*, *будылкой* – так в говорах называется высокий, сухой стебель подсолнуха, что подчеркивает нескладность человека с чрезмерно длинными ногами. Прилагательное *сопушной*, то есть грязный, испачканный, восходит к диалектному существительному *сопуха* “сажа, копоть”. Подобные внутренние мотивировки эмоций и оценок говорящего обнаруживаются и в других словах.

2. Характер человека: *басамыка*, *гомоза* “беспокойный, непоседливый человек”; *блажной* “сумасбродный, взбалмошный, с причудами”; *додельный* “толковый, доводящий дело до конца”; *доможил* “домовитый хозяин”; *малохольный* “с причудами, странностями”; *междворка* “человек, больше любящий ходить в гости, чем работать”; *муторный* “неприятный, надоедливый”; и др. Наименования человека данной группы также являются мотивированными, что находит выражение во внутренней форме ряда указанных слов, но в отличие от предыдущей тематической группы производность данных слов связана в основном с отвлеченными понятиями. Однако целый ряд слов уже не содержит живых указаний на их производность в современном языке, поскольку утратились сами производящие слова: так, для существительного *гомоза* сохранилась лишь связь его с диалектным глаголом *гомозить* (*гомозиться*) – “суетиться, беспокоиться”; и т.д.

3. Умения и способности человека: *байбак* “ленивый человек, лодыр”; *дельный* “толковый, хозяйственный”; *неудельный* “неловкий, неумелый, неискусный”; *письмённый* “грамотный”; *шаболдник* “бездельник” и др. Мотивированность данных слов также обусловлена либо сопоставлением их с объектами реальной действительности (*байбак* “степной сурок, ленивец”), либо наличием производящих слов – как литературных (для слов *дельный*, *неудельный*, *письмённый*), так и нелите-

ратурных, являющихся достоянием только народных говоров. Так, существительное *шаболдник* связано с глаголами *шаболдошить*, *шаболдошничать* – “шататься, баклушить, шляться поздно” [10. Т. IV].

4. **Характеристика интеллекта человека:** *дулеб* “дурак, простофиля”; *слухмённый* “умный, смышленный”; *толкуика* “бестолковый человек”. Слова данной тематической группы являются примером того, что отрицательная оценка говорящим одних и тех же качеств человека может быть более или менее сильной. Говоры, как известно, характеризуются значительной детализацией самых различных наименований, вызванной потребностью дать точные, меткие и яркие характеристики предмета или явления.

5. **Особенности речи:** *балажник* “рассказывающий что-либо веселое, забавное; пустослов”; *гундявый* и *гуннявый* “говорящий невнятно, в нос”; *гутарливый* “разговорчивый, говорливый”; и др. Образование данных слов нередко основано на образных ассоциациях говорящего и приводит к образованию метафоричных названий, например *балаболкой*, как известно, в русских народных говорах называют “подвеску”, “колокольчик”, “висюльку”, “то, что болтается” [10. Т. I].

Оценка человека, выражаемая одним и тем же словом, может меняться в зависимости от того, как разные люди относятся к какому-либо конкретному явлению. Прилагательное *додельный*, характеризующее человека как толкового, доводящего дело до конца, несомненно, заключает в себе положительную оценку. Однако это же слово может быть произнесено с иронией – в том случае, когда говорящий хочет подчеркнуть чрезмерное, излишнее старание человека, его стремление выполнить работу до мелочей. И в первом, и во втором случаях прилагательное *додельный* употреблено в прямом своем значении, мотивированном существительным *дело* или глаголом *доделать* [10. Т. I]. В говорах же известно и переносное употребление данного слова: когда человек стремится выяснить что-либо до мелочей, разузнать все о чем-либо или ком-либо, а информация эта для него является излишней или вовсе его не касается, то говорят: *Ишь какой додельный!* В таком употреблении слово получает отрицательную, осуждающую оценку говорящих. Это последнее значение прилагательного *додельный* появилось в говорах сравнительно недавно: словари русского языка это значение не отмечают.

В примере с существительным *междворка* наблюдается усиление отрицательной оценки человека с течением времени. Прежнее значение этого слова – “нищая, шатающаяся по дворам” [10. Т. II]. В современных говорах этим словом называют не нищего человека, вынужденного “побираться по дворам”, а человека, не любящего работать, предпочитающего проводить время в хождении по различным домам.

Характеристика по частям речи представленных слов указывает на значительное преобладание среди них прилагательных, что, по мнению

исследователей, вполне объяснимо: “именно прилагательные и глаголы обладают характеризующими свойствами”, описывая “внешность, поведение лица, его привычки, состояния, поступки, отношение к окружающим”, и дают им оценку, определяя “их место в системе общепринятых ценностей” [11].

Рассмотренные слова неодинаковы по степени своей распространенности в говорах русского языка. Значительная их часть, по данным “Словаря русских народных говоров”, известна во многих и южнорусских, и севернорусских говорах. Часть слов распространена только в южнорусских говорах. И небольшую группу слов образуют узлокальные диалектизмы, не зафиксированные словарями русского языка, например: *гуннявый, длиннобудылый, длинногачий*.

Литература

1. Головин В.Г., Головина Л.И., Провоторова Е.А. Говоры Липецкой области. Пособие по краеведению. Воронеж, 1987.
2. Котков С.И. К изучению орловских говоров // Уч. зап. Орловского пед. ин-та. Орел, 1952. Т. 7. Вып. 3.
3. Русская диалектология. Под ред. Р.И. Аванесова и В.Г. Орловой. М., 1964.
4. Русская диалектология. Под ред. Л.Л. Касаткина. М., 1989.
5. Русская диалектология. Под ред. В.В. Колесова. М., 1990.
6. Зеленин Д.К. Великорусские говоры с неорганическим и непереходным смягчением задненебных согласных. СПб., 1913. С. 35.
7. Бунин И.А. Собр. соч. в 9-ти т. М., 1965–1967. Т. 1. С. 256.
8. Петрищева Е.Ф. Стилистически окрашенная лексика русского языка. М., 1984. С. 169, 175.
9. Бахвалова Т.В. Характеристика интеллектуальных способностей человека лексическими и фразеологическими средствами языка (на материале орловских говоров). Учеб. пособие. Орел, 1993. С. 11.
10. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1998.
11. Брысина Е.В. Экспрессивно-выразительные средства диалекта. Учеб. пособие по спецкурсу. Волгоград, 2001. С. 35.



ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ РОССИЙСКИХ ФАМИЛИЙ

© В. О. МАКСИМОВ,
генеральный директор

Информационно-исследовательского центра
"История фамилии"

Бывальцев. В.И. Даль приводил в своем Словаре два значения прозвища *Бывалец*: "человек опытный, искусившийся, тертый, кому не в диковинку то, о чем идет речь; находчивый". Оба ли значения этого прозвища бытовали и ранее – неизвестно. Но происхождение прозвища *Бывалец* – древнее. Например, первые упоминания семейного прозвища *Бывальцевы* относятся к XV веку: Авраам *Бывальцев* (1440 г.), Углич; Феодосий *Бывальцев*, архиепископ Ростовский (1454 г.). А на Вологодчине до наших дней сохранилась деревня с названием *Бывальцево*.

Воблов. Бытовавшие преимущественно в украинских и южнорусских говорах (курских, орловских, тамбовских, донских) прилагательные *воблый*, *облый*, *віблый* употреблялись в значениях "круглый", "полный", "огромный". Отсюда и прозвище тучного или же необычай-

но крупного мужчины. Например, в “Реестре Войска Запорожского” (1649 г.) упоминается казак Подольской сотни Полтавского полка Савка *Воблый*.

Жирновников, Жорновник, Жерновников. *Жерновником* или *жорновником* в северных русских говорах в старину называли мастера, который изготавливал жернова для мельницы. В XIX веке это название профессии уже не употреблялось (у Даля отмечено несколько вариантов, но этот отсутствует). Но, например, в летописи 1563 года сохранилась запись: “Наймитам монастырским о Покров Меншыку дал трицать алтын, Пашку мелцу семнацат алтын. Мити жерновнику семь гривен”. Возможно, и в более древние времена прозвище *Жерновник* бытовало лишь в северных русских говорах. Например, упоминается Сенка Денисов, *жорновник* (1623 г.) в Великом Устюге; в Торопецком уезде – Харка Гридин *жорновник* да сын его Федка; в новгородской грамоте (1500 г.) – Офонаско *Жерновник*, крестьянин; Захарко *Жерновников*, житель г. Хлынова (Вятка. 1615 г.). В грамотах XV–XVII веков встречаются и населенные пункты *Жерновники* (Ярославский уезд) и *Жерновниково* (Ярославский, Суздальский и Тверской уезды). А вариант написания *Жирновников* возник в результате традиционного неразличения безударных гласных *e* и *и* или же по причине переосмысления первоначального значения прозвища.

Камшилов, Комшилов. Прозвища *Комшила*, *Камшила*, *Камшило* от глагола *комишить*, *камишить* “бить, колотить” в северных русских говорах могли дать лихому малому, драчуну и задире. Но было известно это прозвище и в южных землях. Так, в грамоте 1606 года упоминается крестьянин *Комшило* Иванов, Белев.

Незнамов. Персонаж русских сказок *Незнам Незнамович* – собирательный образ незнакомца, неизвестного человека. Но существовало и реальное мирское имя *Незнам*: в грамоте 1626 года упоминается *Незнам* Котков, земский целовальник в Великом Устюге. В XVI–XVII веках земским целовальником называли выборное лицо, приведенное к присяге (крестному целованию) для помощи земскому старосте в вопросах управления частью тяглой общины. Поэтому, без сомнения, упомянутый *Незнам* Котков был своим землякам хорошо известен, а имя свое получил в детстве от родителей, вероятнее всего, в качестве традиционного оберега от нечистой силы.

Пундиков, Пундик. *Пундиком* в старинных украинских говорах называли лакомство – кушанье, состоящее из печеных слоев теста, переложенных жареным луком. Могло это название использоваться и в качестве обычного мирского имени, и как прозвище лакомки, гурмана, человека, чрезвычайно разборчивого, привередливого в еде. Об этом напоминает бытовавшее в украинских говорах XIX века слово *пундиковий* – “привыкший к лакомствам”. Это значение отражено и в поговорках: *Пундикова дитина, не хоча хліба їсти, а все давай паляниці*;

Бач, яка пундикова, хліба не їсть. В “Архиве Коша Новой Запорожской Сечи 1734 г.” упоминаются Василь *Пундик* и Трохим *Пундик*, жители села Бригадировка.

Рабков. *Рабко* – в старину в белорусских, западнорусских и некоторых украинских говорах прозвище, даваемое веснушчатому человеку (по-белорусски *рабы* – “рябой”). Так, во времена Богдана Хмельницкого (1649 г.) в “Реестре Войска Запорожского” упоминаются: *Рабко* Кожуховченко (Кальницкий полк) и *Рабко* Лазарченко (Полтавский полк).

Скроботов. В северных говорах бытовали глаголы *скробать*, *скроботать*, *скроботаться*, имевшие значения “чистить, скоблить”, “чесать, скрести”, “производить шум стуком, шарканьем ног” и т.д. Поэтому прозвище *Скробот* здесь мог получить дотошный, очень старательный или же необычайно требовательный человек. Однако в более древние времена прозвище *Скробот* было известно не только в северных говорах, но и в южных. Так, в “Реестре Войска Запорожского” упоминается Савка *Скробот* (1649 г.), казак Белоцерковского полка. А в 1707 году в Новгороде Великом записан Федор *Скроботов*, подьячий.

Тавокин. *Тавокой* или *Товокой* могли прозвать человека, который часто произносил слово *тово*. “Коли ты тово, так и я тово; а коли ты не тово, так и я не тово” – такая присказка записана в словаре Даля. Различия в написании прозвищ *Тавока* и *Товока* могут отражать особенности говора человека: если он “акал” (т.е. произносил безударную *о* как *a*), то и слово *тово* в его “исполнении” звучало как *таво*. Это указывает на то, что он был выходцем из юго-западных русских земель, жителям которых и сегодня свойственно “аканье”. Но, вероятнее всего, первоначально оба эти прозвища имеют южное происхождение. В Словаре Даля *товокать* приводится с пометой “тамбовское” (*тавокать* Даль привел без указания места записи). Разумеется, в процессе заселения Урала и Сибири или в результате более поздних (особенно в XIX–XX вв.) миграций многие диалектные формы фамилий получили распространение и в других землях, но в пользу южного происхождения фамилий *Тавокин* и *Товокин* говорит, например, такой факт. Обе формы фамилий встречаются в среде коренных жителей Воронежской и Белгородской областей: здесь вообще часто соседствуют одновременно два варианта написания местных фамилий: один – исконный (*Астанин*, *Астапов*, *Агурцов*), другой – “исправленный” (*Останин*, *Остапов*, *Огурцов*).

Щипонников. Интересная новгородская фамилия. Но объяснить ее происхождение непросто. Даже в XIX веке в русских говорах бытовало слово *щепенник*: так называли мастера, который изготавливал и продавал различные изделия из дерева, обычно резной или токарной работы. Возможно, в более древние времена это прозвание могло произноситься и как *Щепанник* или *Щепонник*, а также *Щепаник* и *Щепоник*. Нераз-

личение в безударной позиции гласных *e* и *и*, *a* и *o*, а также написание имен и прозвищ со сдвоенными согласными через одну (*овсянник* – *овсяник*, *овчинник* – *овчиник*) было в старину обычным явлением. Может быть, отсюда и возникло большое число вариантов написания, многие из которых сохранились и в современных фамилиях: *Щипонников*, *Щипоников*, *Щепонников*, *Щепоников*, *Щепанников*, *Щепеников* и *Щипаников*. Но в основе этих фамилий может лежать и диалектное прозвище *Щипаник* (ударение на первом слоге): так в псковских, тверских и, возможно, других северо-западных русских говорах в старину называли человека, имевшего привычку одеваться очень легко, видимо, обладавшего весьма крепким здоровьем. Например, в Переписной книге Новгорода Великого в 1646 году в числе посадских людей упоминается “Жданко Петров сын *Щипаник* Рыбный Ловец, у него дети Евтишка и Сенька”. Из грамоты неясно, в каком значении употреблено прозвище *Щипаник*: с одной стороны, сам Ждан и его соседи – люди торговые или ремесленные (об этом говорят прозвища других его земляков: *Мыльник*, *Железник*, *Рыбной Ловец*, *Шапочник*, *Шубник*, *Мясник* и др.), с другой – указано, что промысел Ждана – рыбная ловля (но, возможно, *Щипаник* – прозвание по отцу, т.е. семейное прозвище, не оформленное патронимическим суффиксом). Разумеется, безударная гласная *a* при официальной записи фамилии могла быть изменена на *o*.

Продолжение следует

Желающие задать вопрос или предложить свои дополнения к материалам, опубликованным в этом разделе, могут воспользоваться электронной почтой: dialog@familii.ru (письма отправлять с пометкой “Толковый словарь российских фамилий”) или посетить сайт Исследовательского Центра “История фамилии”: www.familii.ru.

*Имена в русской литературе***Имена в деревенской прозе
второй половины XX века**

© Л. И. Зубкова,
кандидат филологических наук

Биографиями и творчеством “писатели-деревенщики” прочно связаны с русской землей, они хорошо знали людей, которых изображали в своих произведениях. Отсюда и достоверность героев, их жизненная сила и убедительность. Созданию правдивых образов, их связи с реальной жизнью во многом способствует подбор авторами личных имен собственных, связанных с русской традицией именования.

Примеры из художественных произведений подтверждают выдвинутые Е.М. Верещагиным и В.Г. Костомаровым критерии классификации русских имен [1. С. 57]. Личные имена собственные можно объединить или дифференцировать по семантическим признакам. Так, традиционные имена *Анастасия, Анна, Екатерина, Павел, Сергей, Василий* и др., пришедшие на Русь вместе с христианством, можно противопоставить новым именам: *Альберт, Эдуард, Эмма, Элла, Элеонора, Майя, Октябрина* и др. Их можно расставить по смысловой группе “городское – крестьянское” имя. Городские жители быстрее, чем сельские реагируют на социально-политические и экономические изменения в обществе, мода на новые имена приходит в села позднее, что и подтверждают литературные примеры. Новые имена принадлежат городским жителям, тогда как традиционные – *Агафия, Адриан, Акулина, Глафира, Демьян, Мартын, Пелагея, Устинья, Фекла* носят сельские жители.

Разделение имен на модные и традиционные хорошо прослеживается в прозе “деревенщиков”. Так, имя *Игорь* в повести В. Астафьева “Печальный детектив” упоминается как модное: “Под расписку Зойка не шла до тех пор, пока не родился сынок, которого она нарекла модным именем Игорь”.

Одно и то же имя можно характеризовать по нескольким семантическим признакам, например, *Никон* – устаревшее, архаизированное, широко употребительное в различных социальных сферах; *Емельян* ассоциируется с крестьянским именем. Некоторые старые русские имена противопоставляются по смысловой группе “церковный вариант – ли-

тературный вариант”: *Азария – Азарий, Димитрий – Дмитрий, Иоанникий – Аникий* и др.

Выделяются редкие имена, например, *Матрена, Зосима*, которые наносятся на стадии выхода из употребления, принадлежат только пожилым людям, о чем сами писатели сообщают в текстах произведений: “Мишка пошагал в верхний конец деревни. К бабке Матрене. Бабка Матрена хоть и давно из ума выжила, а любила вспоминать старое, а если ей еще поднесешь рюмашку, наплетет с три короба” (Абрамов. Поездка в прошлое). Это также старец *Геронтий* из повести В. Астафьева “Стародуб”, старец *Аристарх* из его же повести “Печальный детектив”, дед Гордей из повести В. Распутина “Деньги для Марии”, старичок *Никон Дегтярев* и его кум *Варлам* из романа В. Шукшина “Любавины”. В данных именах присутствует коннотация “старое имя, редкое”.

Нередко мирские имена противопоставляются монашеским, таким, как священнослужитель *Варсонофий*, священник *Иоанникий*, батюшка *Иоани* (Абрамов. Чистая книга), отец *Герасим* (Шукшин. Мастер).

Полным (документальным) именем называется в основном взрослый человек, и полная форма в этой функции имеет, как правило, нейтральный характер: “В воскресенье, с утра, Анфиса с тремя колхозницами переметывала у конюшни сено, которое еще с зимы было определено для посевной” (Абрамов. Пряслины); “Василий поднимается не рано: рано ему подниматься незачем” (Распутин. Василий и Василиса); “Старший брат моей жены, Сергей, после госпиталя работал в лагере для военнопленных. Еще одна сестра – Калерия – тоже где-то и как-то двигалась с фронта домой” (Астафьев. Веселый солдат).

Называние пожилого человека по имени, а не по имени-отчеству, типично для деревенской среды. Именованное по полной форме может приобретать в речи деревенских жителей оттенок уважительности: “Татьяна, мне так и было сказано – Татьяна, а не Танька, я даже суп перестал хлебать, – учится в городе на швею” (Астафьев. Где-то гремит война). Следовательно, стилистически нейтральная форма полного имени в языке может становиться стилистически маркированной в речи.

Используя полевою модель, мы выделили наиболее употребительные имена в анализируемых произведениях, составляющие ядро антропонимикона писателей: женские имена – *Мария* и *Анна*. Имя *Анна* на Руси было распространено и почитаемо с первых лет христианства, т.к. оно принадлежало матери Богородице и перед революцией занимало третье место по популярности, уступая лишь *Марии* и *Александре*. Однако в произведениях анализируемых писателей количество персонажей с именем *Анна* остается весьма значительным. Далее с большим отрывом следуют имена *Агафия, Анастасия, Валентина, Вера, Галина, Екатерина, Елена, Елизавета, Ирина, Клавдия, Лидия, Людмила, Любовь, Марина, Надежда, Нина, Ольга, Полина, Роза, Софья, Тамара, Татьяна*. Близкую периферию составляют имена *Матрена, Алек-*

сандра, Анисья, Дарья, Евдокия, Пелагея. Еще меньшую повторяемость имеют имена Ульяна, Зоя, Алла, Агриппина, Марина, Прасковья. Дальнюю периферию составляют имена, представленные в творчестве одного писателя: у Ф. Абрамова это Ангелина, Антонина, Гликерия, Дина, Евлампия, Любава, Манефа, Павлина, Устинья, Эльза; у В. Астафьева – Валерия, Виктория, Викторина, Ираида, Калерия, Лилия, Октябрина, Олимпиада, Элеонора, Эмма, Юлия; у В. Распутина – Домна, Домнина, Макрина, Улита; у В. Шукшина – Агнесса, Гафира, Изольда, Инга, Майя.

Ядро мужских имен представлено следующими: Александр, Алексей, Андрей, Аркадий, Анатолий, Борис, Вадим, Валерий, Василий, Виктор, Владимир, Вячеслав, Геннадий, Георгий, Григорий, Дмитрий, Евгений, Егор, Ефим, Иван, Игнатий, Игорь, Илья, Кондратий, Константин, Кузьма, Максим, Михаил, Михай, Николай, Павел, Петр, Семен, Сергей, Степан, Тимофей, Филипп, Юрий.

К приядерным именам можно отнести имена Артемий, Емельян, Ермолай, Леонид, Макар, Прокопий, Федор.

На периферии находятся имена, употребленные только у Федора Абрамова, что свидетельствует о непопулярности и малой распространенности этих имен во второй половине XX века.

Ассоциативная связь личного имени собственного с исходным значением имени нарицательного прослеживается в примерах с именами Надежда, Мария, Виктория, Людмила, Вячеслав: "Девочку назвали многообещающим именем Надежда" (Абрамов. Пролетали лебеди); "Его убеждали, что Мария – имя тоже хорошее, в святцах означает – Святая!..." (Астафьев. Веселый солдат); "–Да. Мы собрались... приветствовать нового кандидата, нашего Вячеслава Александровича. Просто нашего Славу! И позвольте мне тут сегодня скаламбурить: слава нашему Славе!" (Шукшин. Позови меня в даль светлую). Однако подчеркнем, что это лишь примеры для отдельных имен, показывающих, скорее, исключение, нежели правило. Лексический уровень реализации этимологического значения у личных имен собственных выражен слабо по сравнению с апеллятивами.

Таким образом, анализ русских антропонимов по произведениям деревенской прозы второй половины XX века показал, что писатели создают естественные ситуации взаимодействия своих героев, типизируют их речеповеденческие тактики, передают традиции именования, сложившиеся в русском языке

Литература

1. *Верецагин Е.М., Костомаров В.Г.* Язык и культура. Лингвострановедение в преподавании русского языка как иностранного. М., 1990.

Воронеж

Топонимика

Жигули и жиган

© М. А. ГРАЧЕВ,
доктор филологических наук

О происхождении топонима *Жигули* существует несколько точек зрения. Лингвист Ш.Р. Бахтиев соотносит *Жигули* с тюркским словом *джигули* “запряжной рабочий, бурлак”. Он считает отправной формой этого названия слово *джигуле* (в старинном виде – *джигули*), что в татарском языке означает “запряженный, запряжной” (*джигу* – по-татарски “запрягание”, а *-ли* – суффикс). Ученый утверждает, что “это название относится как к горам, так и к населенному пункту, последний мог быть одним из мест пристанища и сбора бурлаков. Таким образом, горы *Джигули* – это горы бурлацкие, то есть район, к которому имели отношение бурлаки” [1].

По мнению Е.С. Отина, “Самарская лука у русского населения Поволжья в более позднее время получает название *Жегуля*. Данная лексема как нарицательное существительное (народный географический термин) в говорах не засвидетельствована и восстанавливается на основе топонимов”. Исследователь считает, что изначальным значением лексемы *жегуля* является “изгиб, извилина, речная лука” [2].

В журнале Министерства внутренних дел от 1838 года утверждалось, что название *Жигулевские* горы происходит от фамилии знаменитого разбойника *Жигулина*. Интересно и утверждение В.А. Никонова, который предположил, что название *Жигули* образовано от слова *жиган* “опытный острожник”. Кстати, он подчеркивал, что *Жигули* «едва ли из *жечь* в значении “место выжигания лесов”, в этом случае форма названия пока ничем не оправдана» [3].

Признавая справедливость предположений предыдущих исследователей, мы решили дополнить и развить некоторые аспекты этимологии лексемы *Жигули*. Точка зрения Ш. Р. Бахтиева достаточно серьезная, тем более что горы, названные впоследствии Жигулями, – территория древней Булгарии, которую населяли преимущественно тюрки (мордвы было меньше, а русские начали колонизацию Жигулевских гор с XIV в.).

Но встает законный вопрос: куда девался начальный звук *д*, почему ударение стоит на первом (другом, “нетюркском”) слоге – *джигули*? Ведь сохранилось же в русском языке тюркское произношение *джигит*

(а не *жигит*), *Джамбул* (а не *Жамбул*). Официальные топонимические названия около старой и современной *Жи(е)гулетши* – русские, тюркских очень мало.

Кроме того, в пользу происхождения из русского языка говорит и то, что название гор имеет множественное число. Здесь “усматривается уже давно подмеченная учеными функция *pluralia tantum* как показатель топонимичности” [4. С. 135].

Интересна “диалектная” точка зрения Е.С. Отина. Добавим к его рассуждениям, что этимологически родственным словом к лексеме *жегуля* в значении “изгиб, извилина, речная лука” является, вероятно, и слово *жгут* – “свитая веревка; кнут”. Однако таких подобных водных изгибов, речных луков на российской территории очень много, но топоним *Жигули* (устар. назв. *Жегули*) – единственный. И Жигулевские горы тянутся дальше речной излучины.

Нельзя не согласиться с мнением В.А. Никонова о том, что вряд ли топоним *Жигули* мог образоваться от фамилии знаменитого разбойника *Жигулина*, хотя и признаем: на территории России в честь преступников названо много мест.

Нам близка точка зрения В.А. Никонова: *Жигули* образовано от *жиган*. Первое официальное упоминание о слове *Жигули* (вернее, о его производном) относится к середине XVIII века (см. родственное название *Жи(е)гулетшия*), а первое упоминание в художественной литературе о лексеме *жиган* в значении “профессиональный преступник, занимающий привилегированное положение в криминальной среде” – к середине XIX века: “– На то ты и *жиган*, чтобы всю суть тебе произойти; такая, значит, планида твоя, – заметил ему на это Облако, несколько задетый за живое этим высокомерным отношением к его сказкам.

– *Жиган*... Не всяк-то еще *жиганом* и может быть!.. Ты поди да дойди-ка сперва до *жигана*, а потом и толкуй, – с гордостью ответил в свою очередь задетый Дрожжин” (Вс. Крестовский. Петербургские трущобы).

Но якутский город Жиганск и Жиганский улус существовали гораздо раньше – уже в XVIII веке: “Жиганский улус – Якутская обл., Верхоянского округа в низовьях Лены. *Жиганск* – заштатный город Якутской области, Верхоянского округа в 1071 версты от Якутска. В 1783 г. Жиганск назначен был уездным городом Якутской области. В 1804 г. партия каторжников, бежавшая из Охотска, разграбила город, который в 1805 г. остался за штатом” [5. Т. XI]. Несомненно, название города – *Жиганск* – образовано от существительного *жиган*.

В слове *Жигули* явно вычленяется этимологический корень *жиг-* и суффикс *-ул*. Поэтому, на наш взгляд, вполне реальна связь лексемы *Жигули* со словами *жечь*, *выжига* “пройдоха”, *прожженный* “опытный” (палачи выжигали на лбу и щеках клеймо “вор”); *жох* “мошенник” и *жиган* “опытный острожник”. Важны в связи с этим и наблюдения В.И. Даля “*Жиган*, *жиганка*, *пройдоха*.., старый, тертый острожник <...> *жигало*

ниж. <...> поджигала, подбивала..., зачинщик, коновод в гульбе, пляске, возмущении <...> *жигли* пск. плутни <...> *жигонуть куда* пск. дать стрелочка, бежать <...> *жега, жига, жиганка* брань..., побои, наказание"; "*жех, жох* кал. жулик, плут, воришка, карманник <...> бывалый..., опытный дока и наглый плут" [6. Т.1].

Как видим, все перечисленные слова либо непосредственно связаны с семами *беглый, преступник, отчаянный человек*, либо опосредованно.

В "Словаре русского языка XI–XVII вв." имеются родственные слова к *жигуле*: "*жегуля* – запальник к огнестрельному оружию (?). Да в Доментовой стене в полате: 2 *жегулю*, 9 пицалей ручных, вкладень железной ломаной (Псков, 1633); *Жигало* – 1. Кадильница (15 в.); 2. Орудие для прожигания (орудие пытки) (15 век)" [7. Вып. 5. С. 79]. То есть и *жегуля* и *жигало* тоже связаны с огнем. Но *жегуля* еще и является самым важным компонентом в огнестрельном оружии, во всяком случае, семантически сближается со словом *жигало* ниж. "поджигала, подбивала, зачинщик, коновод в гульбе, пляске, возмущении".

Любопытно, что в "Орфографическом морском словаре" *жиган, жиганá* "судно" [8. С. 68, 293]. Но во всех указанных и, несомненно, родственных словах отсутствует суффикс *-ул*. Можно предположить, что имелся раньше незафиксированный арготизм *жи(е)гуля* – изначально либо "беглый", либо "преступник", либо "волжский разбойник". А горы, впоследствии названные *Жигулями*, являлись своеобразным местом скопления, притоном этих *жи(е)гулей*. Скорее всего *жигуля* – образовано от слова *жечь*: тот, кто поджигает дома своих угнетателей и убегает, т.е. беглый, но навряд ли это от *жиган*, так как скорее *жиган* от *жигули*.

Возможно, родственной будет и фамилия знаменитого разбойника *Жигулин*. Известно, что фамилии порой образуются от прозвищ или по роду деятельности. И не исключено, что она вполне могла образоваться от воровской клички (имени, прозвища) *Жи(е)гуля* или, скорее всего, по роду занятий – *жегуля* – профессиональный преступник или беглый. Собственное имя *Жигаль* (древнерус. *жи[г]аля*, XV в.) восходит к XV веку [9. С. 216].

Устаревшее написание названия гор – с буквой *е*: *Жегули (Жегулевские, Жегулинские)*. Существует село Жегулетия – на правом берегу Волги. То есть иными словами – столица для *же(и)гулей* – "разбойников и беглых". Жигули были своего рода русской Запорожской Сечью, гнездом волжских разбойников. Доказательством этого являются многочисленные топонимы в районе Жигулевских гор, свидетельствующие о местопребывании преступников: село *Отважное, Молодецкий курган, Кудярова гора, Воеводино урочище, Воровское Городище*, село *Обшаровка* и др. Их семантика напрямую связана с понятием "преступление".

Итак, образованию названия гор Жигули, возможно, послужила нарицательная лексема *жигуля (жегуля)*, изначально имевшая значение –

преступник, беглый, отчаянный человек, восходящая к глаголу. Возможно, это был незафиксированный арготизм. Доказательством функционирования данного слова является родственное слово *жигуля* в значении “запальник к огнестрельному оружию, представляющий скорее всего тлеющий фитиль”, а также антропонимические дублеты и родственные слова – русские прозвища, имена, отчества, а позднее и фамилии: *Жегуля, Жеглович, Жеглов, Жегаль (Жигаль), Жигарь Жигулин*, топонимическое название гор в XVIII веке – *Жигулетия*.

Литература

1. *Бахтиев Ш.Р.* Жигули // Русская речь. 1970. № 1. С. 101.
2. *Отин Е.С.* Жигули // Русская ономастика и ономастика России. Словарь. 1994. С 74–76.
3. *Никонов В.А.* Краткий топонимический словарь. М., 1966.
4. *Отин Е.С.* Непереоформленные личные имена в гидронимии Дона // Восточнославянская ономастика: Исследования и материалы. М., 1979. С. 131–153.
5. Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. СПб., 1894.
6. *Даль В.И.* Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1989.
7. Словарь русского языка XI–XVII вв. М., 1975.
8. Орфографический морской словарь: Опыт словаря-справочника. М., 1974.
9. *Подольская Н.В.* Антропонимикон берестяных грамот // Восточнославянская ономастика: Исследования и материалы. М., 1979. С. 201–241.

Нижний Новгород



Фольклорные источники и смысл “Повести о капитане Копейкине”

© В. А. ВОРОПАЕВ,
доктор филологических наук

“Повесть о капитане Копейкине” представляет собой некую загадку внутри “Мертвых душ”. Первое чувство, которое испытывает читатель, встречаясь с ней, это недоумение: зачем понадобился Гоголю этот довольно пространный и, по всей видимости, никак не связанный с основным действием поэмы “анекдот”, рассказанный незадачливым почтмейстером? Неужели только затем, чтобы показать всю нелепость предположения, что Чичиков есть “не кто другой, как капитан Копейкин”?

Обычно исследователи рассматривают Повесть как “вставную новеллу”, нужную автору для обличения столичных властей, и объясняют ее включение в “Мертвые души” стремлением Гоголя расширить социальные и географические рамки поэмы, придать изображению “всей Руси” необходимую полноту. “История о капитане Копейкине... внешне почти не связана с основной сюжетной линией поэмы, – пишет в своем комментарии С.О. Машинский. – Композиционно она выглядит вставной новеллой... Повесть как бы венчает всю страшную картину

поместно-чиновно-полицейской России, нарисованную в “Мертвых душах”. Воплощением произвола и несправедливости является не только губернская власть, но и столичная бюрократия, само правительство» [1]. По мнению Ю.В. Манна, одна из художественных функций Повести – «перебивка “губернского” плана петербургским, столичным, включение в сюжет поэмы высших столичных сфер русской жизни» [2].

Подобный взгляд на Повесть общепринят и традиционен. В трактовке Е.Н. Купреяновой представление о ней как об одной из “петербургских повестей” Гоголя доведено до своего логического конца. Повесть, полагает исследователь, «написана в качестве самостоятельного произведения и лишь потом была вставлена в “Мертвые души»» [3]. Однако при таком “автономном” толковании остается невыясненным главный вопрос: какова художественная мотивировка включения Повести в поэму? К тому же “губернский” план “перебивается” в “Мертвых душах” столичным постоянно. Гоголю ничего не стоит сравнить глубокомысленное выражение на лице Манилова с выражением, которое можно встретить “разве только у какого-нибудь слишком умного министра”, заметить мимоходом, что иной “государственный даже человек, а на деле выходит совершенная Коробочка”, от Коробочки перейти к ее “сестре”-аристократке, а от дам города NN к петербургским дамам.

Подчеркивая сатирический характер Повести, ее критическую направленность в адрес “верхов”, исследователи обычно ссылаются на факт ее запрещения цензурой (этим, собственно говоря, она в значительной степени и обязана своей репутации остро обличительного произведения). Принято считать, что под давлением цензуры Гоголь вынужден был приглушить сатирические акценты Повести, ослабить ее политическую тенденцию и остроту – “выбросить весь генералитет”, сделать менее привлекательным образ Копейкина и так далее. При этом можно встретить утверждение, что Петербургский цензурный комитет “потребовал внести существенные исправления” в Повесть. “По требованию цензуры, – пишет Е.С. Смирнова-Чикина, – образ героического офицера, бунтаря-разбойника заменился образом наглого буяна...” [4].

Дело, однако, обстояло не совсем так. Цензор А.В. Никитенко в письме от 1 апреля 1842 года извещал Гоголя: “Совершенно невозможным к пропуску оказался эпизод Копейкина – ничья власть не могла защитить от его гибели, и вы сами, конечно, согласитесь, что мне тут нечего было делать” [5]. В цензурном экземпляре рукописи текст Повести перечеркнут весь от начала до конца красными чернилами. Цензура запретила Повесть целиком, и требований переделать ее к автору никто не предъявлял.

Гоголь, как известно, придавал исключительное значение Повести и запрещение ее воспринял как непоправимый удар. “Выбросили у меня целый эпизод Копейкина, для меня очень нужный, более даже, неже-

ли думают они (цензоры. – В. В.). Я решился не отдавать его никак”, – сообщил он 9 апреля 1842 года Н.Я. Прокоповичу [6]. Из писем Гоголя явствует, что Повесть была необычайно важна ему: он без колебаний идет на переделку всех предполагаемых “предосудительных” мест, могущих вызвать неудовольствие цензуры. Разъясняя в письме к Никитенко от 10 апреля 1842 года необходимость Копейкина в поэме, Гоголь обращается к художническому чутью цензора. «...Признаюсь, уничтожение Копейкина меня много смутило. Это одно из лучших мест. И я не в силах ничем залатать ту прореху, которая видна в моей поэме. Вы сами, одаренные эстетическим вкусом... можете видеть, что кусок этот необходим, не для связи событий, но для того, чтобы на миг отвлечь читателя, чтобы одно впечатление сменить другим, и кто в душе художник, тот поймет, что без него остается сильная прореха. Мне пришло на мысль: может быть, цензура устрашилась генералитета. Я переделал Копейкина, я выбросил все, даже министра, даже слово “превосходительство”. В Петербурге за отсутствием всех остается только одна временная комиссия. Характер Копейкина я вызначил сильнее, так что теперь ясно, что он сам является причиной своих поступков, а не недостаток сострадания в других. Начальник комиссии даже поступает с ним очень хорошо. Словом, все теперь в таком виде, что никакая строгая цензура, по моему мнению, не может найти предосудительного в каком бы ни было отношении» (XII, 54–55).

Стараясь выявить социально-политическое содержание Повести, исследователи усматривают в ней обличение всей государственной машины России вплоть до высших правительственных сфер и самого царя. Не говоря уже о том, что такая идеологическая позиция просто была немислима для Гоголя, Повесть упорно “сопротивляется” подобному истолкованию.

Как уже не раз отмечалось в литературе, гоголевский образ капитана Копейкина восходит к фольклорному источнику – народным разбойничьим песням о воре Копейкине. Интерес и любовь Гоголя к народному песнетворчеству общеизвестны. В эстетике писателя песни – один из трех источников самобытности русской поэзии, из которого должны черпать вдохновение русские поэты. В “Петербургских записках 1836 года”, призывая к созданию русского национального театра, изображению характеров в их “национально вылившейся форме”, Гоголь высказал суждение о творческом использовании народных традиций в опере и балете. “Руководствуясь тонкою разборчивостию, творец балета может брать из них (народных, национальных танцев. – В.В.) сколько хочет для определения характеров пляшущих своих героев. Само собою разумеется, что, схвативши в них первую стихию, он может развить ее и улететь несравненно выше своего оригинала, как музыкальный гений из простой, услышанной на улице песни создает целую поэму” (VIII, 185).

“Повесть о капитане Копейкине”, в буквальном смысле слова вырастающая из песни, и явилась воплощением этой гоголевской мысли. Угадав в песне “стихию характера”, писатель, говоря его же словами, “развивает ее и улетает несравненно выше своего оригинала”. Приведем одну из песен цикла о разбойнике Копейкине.

Собирается вор Копейкин
 На славном на устье Карастане.
 Он со вечера, вор Копейкин, спать ложился,
 Ко полуночи вор Копейкин подымался,
 Он утренней росой умывался,
 Тафтяным платком утирался,
 На восточну сторонушку Богу молился.
 “Вставайте, братцы полюбовны!
 Нехорош-то мне, братцы, сон приснился:
 Будто я, добрый молодец, хожу по край морю,
 Я правою ногою оступился,
 За кропкое (ломкое, хрупкое. – В.В.) деревце ухватился,
 За кропкое дерево, за крушину.
 Не ты ли меня, крушинушка, сокрушила:
 Сушит да крушит добра молодца печаль-горе!
 Вы кидайтесь-бросайтесь, братцы, в легки лодки,
 Гребите, ребятушки, но робейте,
 Под те ли же под горы, под Змеины!”
 Не лютая тут змеюшка прошипела,
 Свинцовая тут пулюшка пролетела [7, 8].

Сюжет разбойничьей песни о Копейкине записан в нескольких вариантах. Как это обычно и бывает в народном творчестве, все известные образцы помогают уяснить общий характер произведения. Центральный мотив этого песенного цикла – вещий сон атамана Копейкина. Вот еще один из вариантов этого сна, предвещающего гибель герою.

...Будто я ходил по конец синего моря;
 Как сине море все всколыхалось,
 Со желтым песком все сомешалось;
 Я левой ноженькой оступился,
 За кропкое деревце рукой ухватился,
 За кропкое деревце, за крушину,
 За самую за вершину:
 У крушинушки вершинушка отломилась,
 Будто буйная моя головушка в море свалилась [Там же]

Атаман разбойников Копейкин, каким он изображен в народной песенной традиции, “ногою оступился, рукою за кропкое деревце ухва-

тился". Эта окрашенная в трагические тона символическая подробность и является главной отличительной чертой данного фольклорного образа.

Поэтическую символику песни Гоголь использует в описании внешнего облика своего героя: "ему оторвало руку и ногу". Создавая портрет капитана Копейкина, писатель приводит только эту подробность, связывающую персонажа поэмы с его фольклорным прототипом. Следует также подчеркнуть, что в былинах оторвать кому-нибудь руку и ногу почитается за "шутку" или "баловство". Гоголевский Копейкин вовсе не вызывает к себе жалостливого отношения. Это лицо отнюдь не страдательное, не пассивное. Капитан Копейкин – прежде всего удалой разбойник. В 1834 году в статье "Взгляд на составление Малороссии" Гоголь писал об отчаянных запорожских казаках, "которым нечего было терять, которым жизнь – копейка, которых буйная воля не могла терпеть законов и власти... Это общество сохраняло все те черты, которыми рисуют шайку разбойников..." (VIII, 46–48).

Созданная по законам сказовой поэтики (ориентация на живой разговорный язык, прямое обращение к слушателям, использование простонародных выражений и повествовательных приемов), гоголевская Повесть требует и соответствующего прочтения. Ее сказовая форма отчетливо проявляется и в слиянии народнопоэтического, фольклорного начала с реально-событийным, конкретно-историческим. Народная молва о разбойнике Копейкине, уходящая в глубь народной поэзии, не менее важна для понимания эстетической природы Повести, чем хронологическая закреплённость образа за определенной эпохой – кампанией 1812 года.

В изложении почтмейстера история капитана Копейкина менее всего есть пересказ реального происшествия. Действительность здесь преломлена через сознание героя-рассказчика, воплощающего, по Гоголю, особенности народного, национального мышления. Исторические события, имеющие государственное, общенациональное значение, всегда порождали в народе всевозможные устные рассказы и предания. При этом особенно активно творчески переосмыслились и приспособивались к новым историческим условиям традиционные эпические образы.

Итак, обратимся к содержанию Повести. Рассказ почтмейстера о капитане Копейкине прерывается словами полицеймейстера: "Только позволь, Иван Андреевич, ведь капитан Копейкин, ты сам сказал, без руки и ноги, а у Чичикова...". На это резонное замечание почтмейстер "хлопнул со всего размаха рукой по своему лбу, назвавши себя публично при всех телятиной. Он не мог понять, как подобное обстоятельство не пришло ему в самом начале рассказа, и сознался, что совершенно справедлива поговорка: русский человек задним умом крепок" (VI, 205).

“Коренной русской добродетелью” – задним, “спохватным”, покаянным умом в избытке наделены и другие персонажи поэмы, но прежде всего сам Павел Иванович Чичиков. К этой поговорке у Гоголя было свое, особое отношение. Обычно она употребляется в значении “спохватился, да поздно” и крепость задним умом расценивается как порок или недостаток. В Толковом словаре В. Даля находим: “Русак задом (задним умом) крепок”; “Умен, да задом”; “Задним умом догадлив”. В его же “Пословицах русского народа” читаем: “Всяк умен: кто сперва, кто опосля”; “Задним умом дела не поправишь”; “Кабы мне тот разум наперед, что приходит опосля”. Но Гоголю было известно и другое толкование этой поговорки. Так, собиратель русского фольклора первой половины XIX века И.М. Снегирев усматривал в ней выражение свойственного русскому народу склада ума: “Что Русский и после ошибки может спохватиться и образумиться, о том говорит его же поговорка: “Русский задним умом крепок” [9]; “Так в собственно Русских поговорках выражается свойственный народу склад ума, способ суждения, особенность воззрения... Коренную их основу составляет многовековой, наследственный опыт, этот задний ум, которым крепок Русский...” [10]. Заметим, что глубинный смысл этой народной мудрости ощущался не только в эпоху Гоголя. Наш современник писатель Л. Леонов замечал: “Нет, не о тугодумии говорится в поговорке насчет крепости нашей задним умом, – лишний раз она указывает, сколь трудно учесть целиком все противоречия и коварные обстоятельства, возникающие на просторе неохватных глазом территорий” [11].

Гоголь проявлял неизменный интерес к сочинениям Снегирева, которые помогали ему глубже понять сущность народного духа. Например, в статье “В чем же наконец существо русской поэзии...” – этом своеобразном эстетическом манифесте Гоголя – народность Крылова объясняется особым национально-самобытным складом ума великого баснописца. В басне, пишет Гоголь, Крылов “умел сделаться народным поэтом. Это наша крепкая русская голова, тот самый ум, который сродни уму наших поговорок, тот самый ум, которым крепок русский человек, ум выводов, так называемый задний ум” (VIII, 392).

Статья Гоголя о русской поэзии была необходима ему, как он сам признавался в письме к П.А. Плетневу 1846 года, “в объяснение элементов русского человека”. В размышлениях Гоголя о судьбах родного народа, его настоящем и историческом будущем, “задний ум или ум окончательных выводов, которым преимущественно наделен перед другими русский человек”, является тем коренным “свойством русской природы”, которое и отличает русских от других народов. С этим свойством национального ума, который сродни уму народных поговорок, “умевших сделать такие великие выводы из бедного, ничтожного своего времени... и которые говорят только о том, какие огромные выводы может сделать нынешний русский человек из нынешнего широкого

времени, в которое нанесены итоги всех веков" (VIII, 408), Гоголь связывал высокое предназначение России.

Когда остроумные догадки и сметливые предположения чиновников о том, кто такой Чичиков (тут и "миллионщик", и "делатель фальшивых ассигнаций", и капитан Копейкин), доходят до смешного – Чичиков объявляется переодетым Наполеоном, – автор как бы берет под защиту своих героев. "И во всемирной летописи человечества много есть целых столетий, которые, казалось бы, вычеркнул и уничтожил как ненужные. Много совершилось в мире заблуждений, которых бы, казалось, теперь не сделал и ребенок" (VI, 210). Принцип противопоставления "своего" и "чужого", отчетливо ошугутимый с первой и до последней страницы "Мертвых душ", выдержан автором и в противопоставлении русского заднего ума ошибкам и заблуждениям всего человечества. Возможности, заложенные в этом "пословичном" свойстве русского ума, должны были раскрыться, по мысли Гоголя, в последующих томах поэмы.

Идейно-композиционная роль данной поговорки в гоголевском замысле помогает понять и смысл "Повести о капитане Копейкине", без которой автор не мыслил себе поэмы.

Повесть существует в трех основных редакциях. Канонической считается вторая, не пропущенная цензурой, которая и печатается в тексте поэмы во всех современных изданиях. Первоначальная редакция отличается от последующих прежде всего своим финалом, где рассказывается о разбойничьих похождениях Копейкина, его бегстве за границу и письме оттуда Государю с объяснением мотивов своих поступков. В двух других вариантах Повести Гоголь ограничился лишь намеком, что капитан Копейкин стал атаманом шайки разбойников. Возможно, писатель предчувствовал цензурные затруднения. Но не цензура, думается, была причиной отказа от первой редакции. В своем первоначальном виде Повесть хотя и проясняла главную мысль автора, тем не менее не вполне отвечала идейно-художественному замыслу поэмы.

Во всех трех известных редакциях Повести сразу же после пояснения, кто такой капитан Копейкин, следует указание на главное обстоятельство, вынудившее Копейкина самому добывать себе средства: "Ну, тогда еще не сделано было насчет раненых никаких, знаете, эдаких распоряжений; этот какой-нибудь инвалидный капитал был уже заведен, можете представить себе, в некотором роде, гораздо после" (VI, 200). Таким образом, инвалидный капитал, обеспечивавший раненых, был учрежден, да только уже после того, как капитан Копейкин сам нашел себе средства. Причем, как это следует из первоначальной редакции, средства эти он берет из "казенного кармана". Шайка разбойников, которой предводительствует Копейкин, воюет исключительно с казной: «По дорогам никакого проезда нет, и все это собственно, так сказать, устремлено на одно только казенное. Если проезжающий по какой-ни-

будь своей надобности – ну, спросят только: “зачем?” – да и ступай своей дорогой. А как только какой-нибудь фураж казенный, провиант или деньги – словом, все что носит, так сказать, имя казны – спуска никакого”» (VI, 829).

Видя “упущение” с Копейкиным, Государь “издал строжайшее предписание составить комитет исключительно с тем, чтобы заняться улучшением участи всех, то есть раненых...” (VI, 830). Высшие государственные власти в России, и в первую очередь сам Государь, способны, по Гоголю, сделать правильные выводы, принять мудрое, справедливое решение, да вот только не сразу, а “опосля”. Раненых обеспечили так, как ни в каких “других просвещенных государствах”, но только тогда, когда гром уже грянул... Капитан Копейкин подался в разбойники не из-за черствости высоких государственных чинов, а из-за того, что так уже на Руси все устроено, задним умом крепки все, начиная с почтмейстера и Чичикова и кончая Государем.

Готовя рукопись к печати, Гоголь сосредоточивает внимание прежде всего на самой “ошибке”, а не на ее “исправлении”. Отказавшись от финала первоначальной редакции, он сохранил нужный ему смысл Повести, но изменил в ней акценты. В окончательном варианте *крепость задним умом* в соответствии с художественной концепцией первого тома представлена в своем негативном, иронически сниженном виде. Способность русского человека и после ошибки сделать необходимые выводы и справиться должна была, по мысли Гоголя, в полной мере реализоваться в последующих томах.

Нет оснований полагать, что, переделав Повесть, Гоголь пошел на какие-то существенные для себя уступки цензуре. Несомненно, что он и не стремился представить своего героя только как жертву несправедливости. Если “значительное лицо” (министр, генерал, начальник) в чем-либо и виновато перед капитаном Копейкиным, то лишь в том, что, как говорил Гоголь по другому поводу, не сумело “вникнуть хорошенько в его природу и его обстоятельства”.

Одной из отличительных особенностей поэтики писателя является резкая определенность характеров. Поступки и внешние действия гоголевских героев, обстоятельства, в которые они попадают, – есть лишь внешнее выражение их внутренней сущности, свойства природы, склада характера. Когда Гоголь писал 10 апреля 1842 года Плетневу, что характер Копейкина он “означил сильнее, так что теперь видно ясно, что он всему причиною сам и что с ним поступили хорошо” (слова эти почти буквально повторены в цитирувавшемся письме Никитенко), то он имел в виду не коренную переработку образа в угоду цензурным требованиям, а усиление тех черт характера своего героя, которые были в нем изначально.

Образ капитана Копейкина, ставший, подобно другим гоголевским образам, нарицательным, прочно вошел в русскую литературу и публи-

цистику. В характере его осмысления сложились две традиции: одна в творчестве М.Е. Салтыкова-Щедрина и Ф.М. Достоевского, другая – в либеральной печати. В щедринском цикле “Культурные люди” (1876) Копейкин предстает ограниченным помещиком из Залупска: «Недаром мой друг, капитан Копейкин, пишет: “Не ездите в Залупск! у нас, брат, столько теперь поджарых да прожженных развелось – весь наш культурный клуб испакостили!”» [12]. В резко отрицательном духе интерпретирует гоголевский образ и Достоевский. В “Дневнике писателя” за 1881 год Копейкин предстает как прообраз современных “карманных промышленников”: “Страшно развелось много капитанов Копейкиных, в бесчисленных видоизменениях... И все-то на казну и на общественное достояние зубы точат” [13].

С другой стороны, в либеральной печати существовала иная традиция – “сочувственного отношения к гоголевскому герою как к человеку, борющемуся за свое благополучие с равнодушной к его нуждам косной бюрократией”. Примечательно, что столь непохожие писатели, как Салтыков-Щедрин и Достоевский, в одном и том же негативном ключе интерпретируют образ гоголевского капитана Копейкина. Было бы неверным объяснять позицию писателей тем, что их художественное истолкование основывалось на смягченном по цензурным условиям варианте Повести, что Щедрина и Достоевскому была известна ее первоначальная редакция, отличающаяся, по общему мнению исследователей, наибольшей социальной остротой. Еще в 1857 году Н.Г. Чернышевский в рецензии на посмертное Собрание сочинений и писем Гоголя, изданное П.А. Кулишом, полностью перепечатал первые опубликованное тогда окончание Повести, заключив его следующими словами: “Да, как бы то ни было, а великого ума и высокой натуры был тот, кто первый представил нас нам в настоящем нашем виде...” [14].

Дело, по всей видимости, в другом. Щедрин и Достоевский почувствовали в гоголевском Копейкине те нюансы и особенности его характера, которые ускользали от других, и, как это не раз бывало в их творчестве, “выпрямили” образ, заострили его черты. Возможность подобной интерпретации образа капитана Копейкина заключается, несомненно, в нем самом.

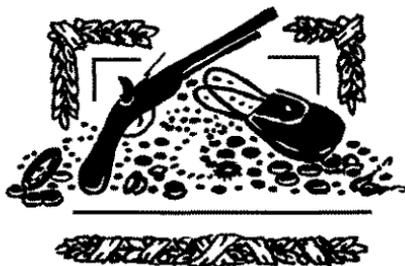
Итак, рассказанная почтмейстером “Повесть о капитане Копейкине”, наглядно демонстрирующая пословицу “Русский человек задним умом крепок”, естественно и органично вводила ее в повествование. Неожиданной сменой повествовательной манеры Гоголь заставляет читателя как бы споткнуться на этом эпизоде, задержать на нем внимание, тем самым давая понять, что именно здесь – ключ к пониманию поэмы.

Художественное своеобразие “Повести о капитане Копейкине”, этой, по словам почтмейстера, “в некотором роде целой поэмы”, помо-

гает уяснить и эстетическую природу “Мертвых душ”. Создавая свое творение – поэму подлинно народную и глубоко национальную, – Гоголь опирался на народнопоэтическую традицию.

Литература

1. *Машинский С.* Мертвые души // *Гоголь Н.В.* Собр. соч.: В 7 т. Т. 5. М., 1985. С. 494.
2. *Манн Ю.В.* Поэтика Гоголя. 2-е изд., доп. М., 1988. С. 285.
3. *Купреянова Е.Н.* Н.В. Гоголь // *История русской литературы.* Т. 2. Л., 1981. С. 574.
4. *Смирнова-Чикина Е.С.* Поэма Н.В. Гоголя “Мертвые души”. Комментарий. 2-е изд. Л., 1974. С. 165.
5. *Русская Старина.* 1889. № 8. С. 385.
6. *Гоголь Н.В.* Полн. собр. соч.: В 14 т. Т. 12. Л., 1952. С. 53. Сочинения и письма Гоголя цитируются по этому изданию. В дальнейшем ссылки на него даются в тексте с указанием тома (римской цифрой) и страницы (арабской цифрой).
7. *Песни, собранные П.В. Киреевским / Изданы Обществом любителей Российской словесности под редакцией и с дополнениями П. Бессонова.* Наш век в русских исторических песнях. Вып. 10. М., 1874. С. 108.
8. *Собрание народных песен П.В. Киреевского.* Записи Языковых в Симбирской и Оренбургской губерниях. Памятники русского фольклора. Т. 1. Л., 1977. С. 226.
9. *Снегирев И.* Русские в своих пословицах. Рассуждения и исследования об отечественных пословицах и поговорках. Кн. 2. М., 1832. С. 27.
10. *Снегирев И.* Русские народные пословицы и притчи. М., 1995 / Репринтное воспроизведение издания 1848 года. С. XV.
11. *Леонов Л.М.* Собр. соч.: В 10 т. Т. 10. М., 1984. С. 544–545.
12. *Салтыков-Шедрин М.Е.* Собр. соч.: В 20 т. Т. 12. М., 1971. С. 297.
13. *Достоевский Ф.М.* Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1984. Т. 27. С. 12.
14. *Чернышевский Н.Г.* Полн. собр. соч.: В 16 т. Т. 4. М., 1948. С. 665.





“Строить дворики” и “строить куры”

© Е. Д. ТЮКАВКИНА

В XVIII веке в русских журналах встречается выражение *строить дворики*, которое сейчас совершенно непонятно: “Пусть ученый человек со всею своею премудростью начнет при мне строить дворики, то я его так проучу, что он от всякой шеголихи тотчас на четырех ногах поскочет” (Новиков. Живописец). Этот фразеологизм является переводом французского выражения “faire la cour a qn - ухаживать <волочиться> за кем-л.” [1]. Слово *cour* переводится как “1. двор, дворик <...> 2. двор, придворные....” [Там же]. Глагол *faire* является многозначным, среди значений встречаются такие, как “делать, совершать, создавать, причинять, исполнять (долг)”, “производить, выполнять, выделять, зарабатывать, заниматься, проехать, составлять, формировать” [Там же] и др.

В виде *строить дворики* фразеологизм не получил распространения, но его французский оригинал постоянно употреблялся. Например, это выражение можно встретить у П.А. Вяземского в стихотворении “Станция”:

Faire la cour и волочиться
 Смешно напоминает блажь
 Маркизов чопорного века
 Иль заставляет заключить,
 Что волокита должен быть
 Или подагрик, иль калека.

Или у А.С. Пушкина (table-talk): «...» а Миних, как ни в чем ни было, разговаривает с дамами, *leur faisant la cour*» (строая им куры).

Путем слияния двух компонентов и добавления глаголообразующего аффикса от французского варианта был образован глагол *ферлакурничать* и его вариант *ферлякурить* (*ферлакурить*), который был зафиксирован словарем Даля [2. Т. IV], несмотря на то, что он был против необоснованного употребления иноязычных слов. От глагола было образовано существительное *ферлякур* и прилагательное *ферлякурный*. Употребление этих слов проиллюстрировал М.И. Михельсон: «Где только барышни, так вот и льнет... "Да уж не говорите, такой *ферлякур*, что просто беда!» (Григорович. Лотерейный бал); «Старехонек был, а любил с дамами *поферлакурничать*, – не ставил того во грех...» (Мельников. Бабушкины рассказы) [3. Т. 2. С. 441]. Употреблял это слово и Ф.М. Достоевский в рассказе «Дядюшкин сон», но как якобы имя собственное: «Или вы корчите, может быть, из себя одного из шематонов времен регентства, которых изображает Дюма? ...какого-нибудь Ферлакура, Лозена?». У Салтыкова-Щедрина даже встречается такая дворянская фамилия, как «Оболдуй-Щетина-Ферлакур».

Наибольшее распространение выражение получило в виде полуперевода (полукальки) *строить куры* с оборота *faire la cour*. Поскольку вторая часть выражения – слово *кур* оставалось непереуведенным, и часто, непонятным, то со временем оно преобразовалось в *куры* и стало функционировать как существительное во множественном числе. Например, в 9-й главе «Мертвых душ» Н.В. Гоголя, в светском разговоре просто приятной дамы и дамы приятной во всех отношениях, встречается выражение *строить куры*, находим его и в «Ночи перед рождеством»: «Рожа, как говорит Фома Григорьевич, мерзость мерзостью, однако ж и он строит любовные куры!».

А.С. Шишков уже в начале XIX века говорил об этом фразеологизме, что подобные «...ответшальные иностранные слова... прогнаны уже из Большова света и переселились к купцам и купчихам» [4]. О том, что это выражение воспринималось как архаичное, писал Н.А. Полевой в статье о выражении *делать карьер* (соответствует современному *делать карьеру*): «Появление подобных новых слов в русском языке совсем не новость. Так, в половине прошедшего столетия были у нас модные слова: *ужесть, как мил; он не в своей тарелке; делать куры*. Теперь все эти слова кажутся смешны; но когда щеголиха 1770-х годов изза своих огромных фижм махала веером по разным мушкам, которыми высказывалось мучение и радость сердца, иной щеголь, смотря на счастливого соперника, с отчаянием схватывал свой тупей и, совсем не думая смешить, восклицал: «*Она с ним делает куры!*». В век, когда волокитство было главною стихиею модных обществ, когда любовь заменяли *куры*, ничуть не смешно было *делать их* (*faire la cour*) и *говорить, что делаешь*» [5]. Полевой употреблял это выражение по отно-

шению сразу и к дамам и к кавалерам, говоря “она с ним”, т.е. они вместе *делают куры*.

Из-за того, что выражение уже устарело и малоупотребительно, оно стало неверно истолковываться. В недавно изданном “Большом фразеологическом словаре” [6] под ред. В.И. Телии утверждается, что выражение *строить куры* применимо и по отношению к женщине, что якобы “связано с современным пониманием установления и поддержания отношений между мужчиной и женщиной, когда в качестве активного участника выступает женщина, что свидетельствует о тенденции к изменению полоролевой традиции, обусловленной использованием женщинами традиционно мужской модели поведения”. Следует отметить, что довольно трудно уловить мысль автора, выразившего ее в таких витиеватых выражениях. Тем не менее, нельзя согласиться с тем, что идиома *строить куры* применима и к женщинам, так как она обозначает именно проявление галантности, хороших манер кавалера по отношению к даме. Дамы, даже самые активные и современные, не могут проявлять по отношению к кавалеру галантность, для них следует выбирать другие выражения. Вероятно, здесь произошло смешение выражений *строить глазки* и *строить куры*.

Строить глазки также французского происхождения, как и *строить куры*, но употребляется оно чаще применительно к дамам: *глазки строить (кому)*. Кокетничать, заигрывать с кем-л. [7]. Выражение – калька с фр. *faire des yeux doux* (букв. “делать сладкие глазки”) [8].

Существуют различные варианты выражения. Сильно варьируется глагол: *делать, творить, допускать, вести куры*. Например у Писемского: “Но это еще не все, ты посмейся, он даже мне вздумал делать куры” (Фонфарон), или у Б. Пильняка: “Лермонтов вел свои куры при всех сразу” (Штос в жизни). Варьируется и именная часть. Встречаются даже такие варианты, как *куры-муры строить*: “Есть у нас старикашка такой <...> То водку пьет в какой-нибудь компании нашей братии, то идет по улице да песни подпеваает и с бабами куры-муры строит <...>” (Решетников), или *строить курбеты* в “Очерках московской жизни” П. Вистенгофа: “Не забудьте, что нынешний чиновник в Москве получает порядочное штатное жалованье, <...> строит курбеты барышням, ищет себе богатую невесту, требуя, чтоб она была непременно милашка и благородная...”, или: “Один отставной коллежский попал на день ангела к кому-то из бывших сослуживцев, где оказалась одна молодая особа, сильно желающая выйти замуж <...> Ну вот, выпили они шар-трезу, анисовой и крыжовниковой! – радостно подхватывал подсказки Алексей Проконьевич. – И головка-то у той особы вскружилась, <...> и она ну айда нашему одру курбеты строить” (Титов. Одинокое мое счастье). Но в последнем примере выражение употреблено неверно, дама *строит курбеты*, а не кавалер. Вероятно, вариант *строить курбеты*

образовался в результате смешения выражений *выкидывать курбеты* (“Совершать неожиданные, несурзные поступки” [9]) и *строить курь*.

Кроме того, порядок частей в этом фразеологизме не является фиксированным и существует множество его вариантов.

Есть и некоторые выражения, очень похожие на рассматриваемый фразеологизм по составу, но отличающиеся по значению. Например, у Сумарокова в стихотворении “Шалунья” встречается выражение со словом *курь*:

Однако знанием хотела поблистати
И ставила слова французские некстати;
Сказала между тем: “Я еду делать курь”.
Сказали дурище, внимая то, соседки:
“Какой плетешь ты вздор! кур делают наседки”.

По поводу выражения в этом стихотворении лингвист Р.Р. Гельгард в середине XX века писал: “...французское *кур* (*coûr*) в фразеологизме *делать кур* легко могло осознаться как форма вин.-род. пад. мн. числа русского существительного *кураца*. Именно такое осмысление мы находим в одном из стихотворений Сумарокова, высмеивавшего увлечение галлицизмами дворянского общества и тех слоев, которые стремились подражать его жаргону” [10]. Следует отметить, что помимо выражения со значением ухаживания, существовало и выражение *aller faire la cour* со значением “ездить на поклон” и *faire une cure* – “лечиться”. Сумароков, по-видимому, имел в виду выражение *aller faire la cour*, обозначавшее “ездить на поклон”, т.е. с целью засвидетельствовать свое почтение. Это значение выражения *строить курь* зафиксировано у Даля, причем на первое место поставлено именно “льстить”, а не “волочиться”: “**Курь** *строить*, франц. льстить, подыскиваться; волочиться, любезничать” [2. Т. II]. В двухтомном “Полном французском и русском лексиконе...” времен Сумарокова приводятся фразеологизмы *faire la cour aux grandes* (“ездить на поклон к знатным”), *faire la cour de quelqu'un* (“услужить кому просьбою у кого-нибудь”) [11]. На наличие второго значения указано и в словаре А.М. Бабкина, В.В. Шендцова, в котором приводятся примеры из писем XIX века: “Живу я себе ни хорошо, ни дурно – скромно, в карты не играю, только по 2 коп. в Ералаш с Анд. Ив. Горчаковым *roug lui faire la cour*” (Л. Толстой, письмо к С.Н. Толстому. 15 дек. 1850)” [12]. В стихотворении Сумарокова, возможно, “делать курь” обозначает лечиться, что указано и в примечаниях (составленных П.Н. Берковым): “Я еду *делать кур* – еду лечиться (фр. *faire une cure*)”.

Само слово *курь*, входящее в состав этого фразеологизма, стало иногда истолковываться как *ухаживание* в некоторых словарях. Например, у А.Г. Преображенского оно обретает даже собственное значение:

“КУРЫ, р, кур (или куров?) – “ухаживание” в выпр. строить куры. – из фр. *faire la cour*” [13]. Обращает на себя внимание то, что *куры* не только обрели некоторую “самостоятельность” в этой словарной статье, но и получили право склоняться.

Парадигма существительного *куры* как части фразеологизма, конечно, ограничена. Но в отдельных примерах это существительное может встречаться и в других падежах, кроме винительного, например у Н.С.Лескова: “-А вы Кларе Ивановне кур не строили, Офенберг? – То есть, ей богу, ничего не строил”.

Это выражение часто использовалось для создания каламбуров благодаря своему созвучию со словом *куры* (мн.ч. от *курица*). Эпиграмма с этим выражением есть и в сочинениях Козьмы Пруткова:

Раз архитектор с птичницей спознался...
И что ж? в их детище смешались две натуры:
Сын архитектора – он строить покушался;
Потомок птичницы – он *строил* только куры.

Выражения, которые выходят из активного употребления, начинают использоваться в тех контекстах, где их раньше не было, или неверно истолковываться. Например, в переводе пьесы Бена Джонсона (современника Шекспира) “Черт выставлен ослом”: “[Леди Флюгер:] Милей, галантней и непринужденней! Здесь, в Лондоне, мы можем строить куры Хоть дюжине поклонников зараз”. Интересно, что употребление фразеологизма в переводе пьесы Бена Джонсона не совсем оправданно, так как в оригинале стоит просто “*Make love t’ us*”, не являющееся фразеологическим оборотом.

Это выражение встречается и сейчас в современных статьях. чаще в каламбурном употреблении, например в статье “Всероссийская птица” о выставке-ярмарке домашней птицы: «В детстве нам читают “Курочку Рябу” и кормят дрожющим и сочащимся омлетом. Потом мы вырастаем, переходим на глазунью по утрам. Потом мы начинаем строить куры» (Независимая газета. 2003. 18 апр.).

Таким образом, на примере выражения *строить куры* мы видим, что фразеологизмы обладают способностью к варьированию, причем количество вариантов может быть достаточно большим. Но бывают случаи, когда выражение неправильно истолковывается или смешивается с другими похожими, которые принимаются за его варианты.

Литература

1. Французско-русский словарь активного типа. М., 1991.
2. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. СПб.-М., 1882.

3. *Михельсон М.И.* Русская мысль и речь. Свое и чужое. Опыт русской фразеологии. Сборник образных слов и иносказаний. М., 1997. Т. 2. С. 441.
4. *Шишков А.С.* Рассуждение о старом и новом слоге российского языка. СПб., 1803. С. 24.
5. *Полевой Н.А.* Делать карьер // Сатирическое приложение к журналу "Московский телеграф". 1830. № 19. Ч. 35.
6. Большой фразеологический словарь русского языка. Значение. Употребление. Культурологический комментарий. Отв. Ред. В.Н. Телия. М., 2007.
7. *Шанский Н.М., Зимин В.И., Филиппов А.В.* Краткий этимологический словарь русской фразеологии // Русский язык в школе. 1980. № 1. С. 76.
8. *Шанский Н.М., Зимин В.И., Филиппов А.В.* Опыт этимологического анализа русских фразеологизмов. М., 1987. С. 141.
9. *Бирих А.К., Мокиенко В.М., Степанова Л.И.* Русская фразеология, историко-этимологический словарь. М., 2005.
10. *Гельгардт Р.Р.* О лексической ассимиляции в связи с ложной ("народной") этимологией // Русский язык в школе. 1956. № 3. С. 39.
11. Полный французский и русский лексикон, с последнего издания лексикона французской академии на российский язык переведенный собранием ученых людей. СПб., 1786. Ч. 1.
12. *Бабкин А.М., Шендецов В.В.* Словарь иноязычных выражений и слов, употребляющихся в русском языке без перевода. М.- Л., 1966. Т. 1.
13. *Преображенский А.Г.* Этимологический словарь русского языка. М., 1912. Вып. 6.

Утро в приветствии “Доброе утро!”

© Т. В. ВЕРЕВКИНА

При определении времени наши предки-славяне меньше всего заботились об абсолютной его точности. Видимо, поэтому распределение суток на более дробные периоды появилось достаточно поздно, да и появившись, оно долго не могло стабилизироваться “в духе современности”: число часов в древнерусских сутках колебалось от семи до семнадцати [1]. А вот хронологический счет времени у европейских жителей носил несколько иной характер, вследствие чего в настоящий момент границы между временами суток в представлении носителей различных языков не совпадают. К примеру, слово *утро* в “Словаре современного английского языка”: *morning* – “1. the first part of the day, from the time when the sun rises, usually until the time when the midday meal is eaten; 2. the part of the day from midnight until midday” [2. Т. II. С. 678], то есть, если переводить буквально, для говорящих на английском *утро* – 1. первая часть дня, начиная с восхода солнца, обычно до начала времени обеденного перерыва; 2. часть суток от полуночи до полудня. А для носителей русского языка время, непосредственно следующее за полуночью, – ночь, но не утро (русский человек скажет “час ночи”): утро – это “часть суток, начало дня, первые часы дня” [3]; “часть суток, сменяющая ночь и переходящая в день, начало дня” [4]; “начало, первая пора дня, от восхода солнца; все время дня, до полудня; все время до обеда...” [5]. Таким образом, границы понятия “утро” для русского человека достаточно размыты.

Как следствие, в русском языке моменты, которые считаются началом и завершением утра, также могут определяться по-разному. Так, началом новых суток может считаться: 1) заход солнца (библейское представление); 2) наступление полуночи (официально-юридическое); 3) момент пробуждения человека после ночного сна (бытовое) [6. С. 236].

Для того чтобы с точностью охарактеризовать момент, который завершает утро для русского человека, принципиально важно обратить внимание на следующее. Языковое обозначение времени суток для русских в значительной степени определяется деятельностью, которая его

наполняет. Так, день заполнен какой-либо деятельностью; утро начинает эту дневную деятельность, а вечер кончает [6. С. 229–231]. В отличие от русской модели, в западноевропейской, наоборот, характер деятельности определяется временем суток. В большинстве европейских стран день структурируется обеденным перерывом, который носит универсальный характер и расположен в интервале от 12 до 14 часов. Как следует из данных “Словаря современного английского языка”, время суток до этого перерыва (то есть от полуночи до полудня) называется *утро* [2. Т. II. С. 678].

Часть времени после этого перерыва и приблизительно до конца рабочего дня имеет специальное название – *afternoon* (англ.), точного эквивалента которому в русском языке нет (*afternoon* обычно переводится как “после полудня до захода солнца или до конца рабочего дня” или просто “день”). “День” по-русски означает промежуток времени с неотчетливыми границами: не с самого утра, но до наступления вечера (утро – это время начала человеческой деятельности, а вечер – время, когда дневную деятельность пора заканчивать) [2. Т. I. С. 17]. Иногда европейскому *afternoon* “послеполудню” соответствует русское *вечер* (например: *вечерний прием врача – с двух до шести*).

Таким образом, становится понятно, что неуместность обращения “Доброе утро!” к коллеге по работе (которое может быть, кстати, воспринято и как намек на то, что человек имеет невыспавший вид) вызвана тем, что *утро* в русском языковом сознании начинается день и дневную деятельность человека. Соответственно, это приветствие представляет собой нечто вроде поздравления с пробуждением и пожелания, чтобы то, что ждет человека после пробуждения, было приятным. С этим приветствием можно обратиться к человеку, на наш взгляд, лишь сразу после того, как он проснулся и еще ничего не успел сделать. Если же человек находится утром на работе, это означает, как минимум, что он туда пришел, а перед этим умылся, оделся, позавтракал и т.д., то есть его дневная деятельность уже давно началась. С другой стороны, если человек пробудился от ночного сна лишь в 2 часа полудни, по-русски приветствие “Доброе утро!” по отношению к нему будет вполне уместно, хотя и несколько иронично [6. С. 237–240].

Аналогичное приветствие в западноевропейских языках не содержит указанного ограничения, связанного с началом деятельности: такие слова уместны в любой момент времени с утра до обеденного перерыва. Можно предположить, что это связано с происхождением приветствия “Доброе утро!”: в русском языке оно не является исконным. Согласно данным фразеологического словаря, это употребляющаяся с XVIII века калька с соответствующего французского или немецкого выражений: фр. *Bon matin!*, нем. *Guten Morgen!*, англ. аналог *Good morning!* – от пожелания многих добрых дней в жизни [7]. Но с течением времени заимствованное выражение в русском языке приобрело такое

значение, которого нет в других языках, – утреннее приветствие в адрес только что проснувшегося человека.

Итак, если для *русского утра* значимыми, определяющими являются моменты пробуждения и начала деятельности, то западноевропейскую модель строго определяют полночь и полдень.

Литература

1. Мокшенко В.М. Загадки русской фразеологии. М., 1990. С. 56.
2. Longman dictionary of contemporary english. Special Edition. Volume II. Longman, 1992. / Словарь современного английского языка. Специальное издание. М., 1992.
3. Словарь русского языка. В 4 т. Под ред. А.П. Евгеньевой. М., 1999. Т. IV.
4. Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1990.
5. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1991. Т. IV.
6. Зализняк Анна А., Шмелев А.Д. Время суток и виды деятельности // Логический анализ языка: язык и время. М., 1997.
7. Шанский Н.М., Зимин В.И., Филиппов А.В. Школьный фразеологический словарь русского языка. Значение и происхождение словосочетаний. М., 1997. С. 68.

ЧИСЛО В РУССКОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ

© Т. Б. ПАСЕЧНИК

Число как понятие сформировалось не сразу. Вначале оно воспринималось как определенное количество каких-то предметов. Воспоминание о ручном счете запечатлено и в русских фразеологизмах, например, *по пальцам пересчитать (перечесать)* – о малом количестве чего-либо, кого-либо и др.

С древности люди полагали, что число знаменует божественный порядок, является волшебным ключом к пониманию космической гармонии. С тех пор те или иные конкретные, отличающиеся особым смыслом, знаменательные, символические числа, являются существенным, порою, важнейшим элементом чуть ли не каждой духовной культуры, существовавшей в истории цивилизации: архаической, античной, средневековой и даже новой.

С помощью чисел люди описывали качественно-количественную сторону явлений. В нашем исследовании мы пытаемся показать, как число (точнее, числовой компонент) может приобретать символическую значимость, не ограничиваясь выражением просто количества.

Один – обозначение первичной целостности, знак человеческого “я” и одиночества [1. С.100]: *один как перст; один-одинехонек, один-одинешенек, одна-одинехонька, одна-одинешенька; в одиночку; один в поле не воин* (посл.); *одна муха не проест и брюха* (посл.); *одной рукой (и) узла не завяжешь* (посл.); *одному и у каши неспор* (посл.); *один и дома горюет, а двое и в поле воюют* (посл.); *один и у каши загинет* (посл.).

Два символизирует любое противоречие, раздвоенность, отсутствие единства (создатель и создание, белое и черное, мужское и женское, материя и дух, день и ночь, земной и потусторонний мир) [2. С.390].

Мы наблюдаем, что данное число часто сопряжено с негативным восприятием: оно может отражать конфликтность, состояние трудного выбора, противовес или противопоставление: *между двух огней; палка о двух концах; сидеть между двух стульев; гоняться (гнаться, погоняться) за двумя зайцами; убивать двух зайцев; два медведя в одной берлоге не живут (не уживутся)* (посл.); *за двумя зайцами погонисься, ни одного не поймашь* (посл.); *семь топоров вместе лежат, а две прялки врозь (врознь)* (посл.); *две собаки грызутся (дерутся), третья (чужая) не приставай* (посл.).

Три воплощает исчерпанность, духовный синтез, обновление, созидание, олицетворяет решение конфликта. Это число “одно из самых поло-

жительных чисел-эмблем не только в символике, но и в религиозной мысли... имеет очень древние корни” [3. С. 375]. Отсюда Христианская Троица, три сына в сказке, три сословия или три социальных группы в любом обществе, три попытки во всяком деле. Тройка, как символ, предполагает возникновение, развитие и завершение: *третье поколение; третье сословие; один карась сорвется, другой сорвется, третий, Бог даст, и попадется* (посл.) – после нескольких неудач возможен и успех в чем-либо; *первая рюмка (чарка) колом, вторая соколом, третья (а потом) мелкими птишечками* (посл.) – каждая следующая рюмка пьется легче; *обещанного три года ждут* (посл.); *один сын – не сын, два сына – полсына, а три сына – сын* (посл.); *кто думает три дни, тот выберет злыдни* (посл.; уст.) – долгое размышление ведет к худшему выбору; *без троицы дом не строится* (посл.) – говорится в оправдание третьего по счету действия; *Бог любит троицу* (посл.).

Приведенные примеры из русской фразеологии убедительно показывают, как числовой компонент *три (третий)*, обладая символическим значением, формирует смысловое значение всего фразеологизма, а в поговорках – выстраивает особенную логику высказывания, предусматривающую некий процесс, который имеет свое завершение.

Четыре – символ универсальности, целостности, всемогущества и твердости, власти.

Символизм данного числа связан с квадратом и четырехконечным крестом. *Квадрат* – эмблема земли у многих народов, а крест, кроме прочего, – символ целостности [1. С. 101]. Универсальность мироздания: четыре стороны света – север, юг, запад, восток; почитаемые четыре стихии – земля, вода, воздух, огонь; четыре времени года; четыре фазы Луны; четыре реки в раю; четыре вида божественного творения – безжизненные вещи, растения, звери и люди. Все это свидетельствует об особом месте данного числа у разных народов [2. С. 391]. Отражено это число и во фразеологизмах: *в четырех стенах жить (сидеть, закупаться, закрыться); на все четыре стороны (отправляться, убираться); без четырех углов изба не становится* (посл.); *в (чистом) поле четыре воли, хоть туда, хоть сюда, хоть инаково* (посл.); *конь о четырех ногах, да и тот спотыкается* (посл.).

В приведенных фразеологизмах, помимо понятия “Числа”, языковыми средствами, на наш взгляд, реализуется сложное понятие “Воля”. Известный русский мыслитель Г. Федотов рассматривал волю как категорию, занимающую в русской культуре более важное место, чем свобода: “Воля есть прежде всего возможность жить, или пожить, по своей воле, не стесняясь никакими социальными узами, не только целями” [4. С. 242].

Четыре стены дома ограничивают волю человека, что является для него губительным. *Четыре воли в поле* – четыре стороны света. Только в поле, на просторе каждый волен поступать, как ему вздумается. Эти яркие образы помогают нам понимать волю как черту национального рус-

ского характера. *Конь о четырех ногах* в русской поговорке символизирует могущество и твердость, но и он спотыкается. Так образно говорит-ся об оправдании чьей-либо ошибки, оплошности.

Семь – священное число, символ божественности, выражение идеи Вселенной, символ высших космических начал. Оно значимо и закрепи-лось в культуре в таких своих вариантах, как семь нот, семь цветов спек-тра, семь звезд Большой медведицы, семь дней недели. В фольклоре па-мятны образы семи гномов, семи богатырей, семи ягнят.

Для славян важность этого числа отражается в следующих фразеоло-гизмах: *на седьмом небе; семеро по лавкам; за семью морями; на семи ветрах; на семи холмах; семи пядей во лбу; видеть седьмой сон; работ-ать до седьмого пота; семь смертных грехов; семеро одного не ждут* (посл.); *у семи нянек дитя без глазу* (посл.); *семь бед – один ответ* (по-сл.); *один с сошкой – семеро с ложкой* (посл.); *семь раз отмерь – один от-режь* (посл.), *вон порог на семь дорог* (посл.) и др.

Исследуя отобранный материал, мы приходим к выводу, что *семерка* воспринимается как некий предел возможного. Так, например, фразео-логизм *на седьмом небе*, вероятно, восходит к легенде о том, что имеется семь небес; попадающие на седьмое небо испытывают высшее блажен-ство, т.е. речь идет о лестнице в небо, состоящей из семи уровней.

Употребление *семь* во фразеологизме *семь смертных грехов* скорее всего можно объяснить тем, что число *семь* образует базовую серию не только для главных добродетелей, принятых в христианстве, но и для противоположных им смертных грехов.

Десять в соответствии с индоевропейской традицией символизирует любовь к богу и к ближнему, силу, единство мироздания, гармонию, пол-ноту, совершенство. Десятая часть (десятина) практически повсеместно являлась мерой дани или жертвы Богу. Десятилетие символизирует веку в истории или полный цикл в мифологии.

Однако исследование русских фразеологизмов с числовым компонен-том *десять* показывает, что, вероятнее всего, его употребление связано с тем, что десятка является единицей счета, а в составе фразеологизма символической значимости не имеет: *десятая вода на киселе; дело деся-тое; не (из) робкого десятка; не (из) храброго десятка; обходить деся-той дорогой; дать десять очков вперед; десятый сон сниться (ви-деть); десятая спица в колеснице*.

Привлекла наше внимание символика числительных *тысяча* и *сто*: максимально возможный, предельный. Примеры русских фразеологиз-мов с этими числовыми компонентами из исследуемого материала отра-жают их значимость: *на тысячу ладов; дать сто очков вперед; на все сто; на все сто процентов; не имей сто рублей, а имей сто друзей* (по-сл.).

Необходимо отметить, что наиболее высокой активностью в сочета-нии с символической значимостью во фразеологии русского языка обла-

дают числа первого десятка (кроме чисел 5, 6 и 8), а также *сорок, сто и тысяча*. “Единство человека со вселенной, – писал А.Я. Гуревич, – проявлялось в пронизывающей их гармонии. И миром, и человеком управляет космическая музыка. Выражающая гармонию целого и его частей и пронизывающая все – от небесных сфер до человека... С музыкой связано все, измеряемое временем. Музыка подчинена числу. Поэтому и в макрокосме, и в микрокосмочеловеке царят числа, определяющие их структуру и движение” [5. С. 73].

Литература

1. *Маслова В.А.* Введение в когнитивную лингвистику. М., 2007.
2. *Маковский М.М.* Сравнительный словарь мифологической символики в индоевропейских языках: Образ мира и миры образов. М., 1996.
3. *Тресицкер Д.* Словарь символов. М., 1999.
4. *Вежбицкая А.* Понимание культур через посредство ключевых слов. М., 2001.
5. *Гуревич А.Я.* Категории средневековой культуры. М., 1972.

*Коломна
Московской обл.*